

**Олег МОРОЗ**

**САХАРОВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ССЫЛКИ**

*Он вернулся надломленный, но не сломанный*

## **I. КАК САХАРОВ СТАЛ САХАРОВЫМ САХАРОВ**

В прошлом году мы отметили печальную дату – 25 лет назад не стало нашего замечательного соотечественника, великого гуманиста современности Андрея Дмитриевича Сахарова.

Сахаров вполне мог бы стать витриной советской науки. Более того – науки «русской», наравне с Курчатовым. По-видимому, к какой-то такой роли его и готовили. Несть числа

почестям и наградам, которыми коммунистическая власть одарила «отца советской водородной бомбы». Из наиболее почетных – академик в 32 года, лауреат Сталинской и Ленинской премий, трижды Герой Социалистического Труда... Тысячам людей и гораздо меньших дарованных им отличий хватало на то, чтобы устроить себе абсолютно безбедную жизнь.

Но академик, трижды Герой и т.д. и т.п. не оправдал надежды своих поощрителей...

Как и когда Сахаров стал тем Сахаровым, каким мы его знали и каким он остался в нашей памяти? Каким образом всячески обласканный властями ученый превратился в непреклонного противника этих властей (по крайней мере, в том, что касается прав человека) и, соответственно, в «отщепенца», по отношению к которому хороши все средства воздействия, включая пытки (именно пытками было так называемое принудительное кормление во время горьковских голодовок Сахарова).

Разумеется, какой-то одной конкретной даты не было, а был процесс созревания, превращения, в общем-то, обыкновенного по своему мировосприятию человека «советской эпохи», к тому же, как уже сказано, обласканного этой эпохой, вознесенного на Олимп, в ее непримиримого критика, борца. В главного диссидента Советского Союза.

Первое (и довольно отважное по тем временам) проявление инакомыслия случилось еще в конце 1948-го, в совсем глухую сталинскую пору. Некий высокопоставленный гэбэшник предложил двадцатисемилетнему Сахарову вступить в партию. Гэбэшники уже тогда поняли, что перед ними человек совершенно исключительного научного дарования. Задача была – «оприходовать» его, сделать частью коммунистического, как теперь говорят, истеблишмента, в качестве «чистопородного русского гения» (вот удача-то так удача!), противопоставить евреям, обильно представленным в кругу ученых-ядерщиков (в букете всевозможных достоинств коммунистической власти антисемитизм, как известно, уже занимал почетное место). Однако Сахаров сильно разочаровал тут на-

чальство – отказался от вступления в партию, заявил, что сделает все, что в его силах, для успеха работы, оставаясь беспартийным. (Второй раз – уже от имени самого Брежнева – Сахарову было предложено вступить в КПСС семнадцать лет спустя, в 1965 году. С тем же результатом).

Следующая веха – середина 1950-го. Приехавшая на «объект» комиссия проверяет благонадежность сотрудников. Среди прочего – задает провокационный вопрос-тест: как относитесь к хромосомной теории наследственности (то есть к генетике; тогда это была «буржуазная лженаука»)? Сахаров мог бы ответить: никак не отношусь, не моя это область. Он отвечает: считаю эту теорию научно правильной. Реакцией должно было бы стать немедленное увольнение. Именно к увольнению представили за такой же ответ другого сотрудника. Но с Сахаровым так поступить, конечно, было нельзя. Оставалось кусать локти...

В защиту генетики, против маразма лысенковщины ученый не раз выступал и позже. Причем – все более решительно и громогласно.

Вообще год от года инакомыслие Сахарова обозначается все четче. И при всем при том еще в 1953-м по поводу кончины «вождя всех народов» Андрей Дмитриевич пишет жене Клавдии Алексеевне: «Я под впечатлением смерти великого человека. Думаю о его человечности». Впрочем, уже очень скоро он начинает вспоминать эти слова «с краской на щеках».

Самый большой вклад в становление сахаровского диссидентства внесли, разумеется, ядерные испытания: это была сфера его непосредственных профессиональных интересов. Сахаров напряженно размышляет, как уменьшить их вредность (по его расчетам, каждая мегатонна испытательных взрывов в атмосфере уносит десять тысяч человеческих жизней), как не допустить ненужные, избыточные... Сначала довольно робко, потом все напористее и жестче принимается перечить начальству, озабоченному только одним – созданием самого мощного, самого эффективного и устрашающего ядерного оружия.

Однако со временем круг вопросов, по которым он стал высказывать мнение, отличающееся от мнения «партии и правительства», все более расширялся. В частности, он все более вовлекался в деятельность, которая на Руси всегда была самой тяжелой и опасной, – в правозащитную деятельность. В 1968-м Сахаров написал свои знаменитые «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Толчком к этому послужило интервью, которое он дал известному журналисту (в прошлом или тогда еще не в прошлом – сотруднику «органов») Эрнсту Генри для «Литературной газеты», но которое не позволил опубликовать главный коммунистический идеолог Суслов. Автор отдал статью в «самиздат», она была опубликована на Западе. После этого Андрея Дмитриевича отстранили от работы на «объекте» – в Арзамасе-16 (ныне вернувшем свое прежнее, историческое название – Саров). По его собственным словам, это означало, что он «отлучен» от привилегий советской «номенклатуры». А затем начались прямые беспощадные репрессии против него и его близких, связанные не только с инакомыслием Ан-

дрей Дмитриевича, но и с его правозащитной деятельностью, все более энергичной. Как пишет Сахаров, «почти каждый день надо было выступать в защиту кого-то».

Вместе с тем полученные Сахаровым щедрые ранние награды (которых, впрочем, он в дальнейшем был лишен), свидетельствующие о его выдающихся способностях и заслугах, а еще больше магия гениального «ученика дьявола», неожиданно превратившегося в «святого великомученика», принесли ему неслыханный авторитет во всем мире, или, как сказали бы сейчас, дали ему такую «раскрутку», которой ни тогда, ни сейчас не обладал и не обладает никто (точнее, в те времена авторитет, сравнимый с сахаровским, был у Солженицына). Без такой «раскрутки» Сахаров не оказал бы и сотой доли того влияния на современную историю, какое оказал он.

Кем был Сахаров – либералом, демократом? Разумеется, и тем, и другим. Однако точнее всего, я думаю, к нему подходит понятие «гуманист». Либералом он был в широком смысле этого слова, он не был, например, безусловным сторонником экономического либерализма. В последнем он при-



вечал главным образом рынок и конкуренцию, полностью сознавая нежизнеспособность и идиотизм административно-командной системы. Но вот отношения с другими фундаментальными принципами экономического либерализма, такими, как ведущая роль частной собственности, у него были сложные. Он предпочитал говорить о плюрализме форм собственности, о том, что наряду с частной существенную роль должна играть и государственная, и кооперативная. Он стоял за широкое распространение различных видов аренды. Так, Сахаров требовал немедленно, «до посевной 1989 года», ликвидировать нерентабельные колхозы и совхозы (а были у нас другие?), но идею купли-продажи сельскохозяйственных земель, их свободного оборота не поддерживал: в подготовленном им незадолго до смерти проекте Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии говорится лишь о возможности передачи земли частным лицам во владение на неограниченный срок и о праве детей и ближайших родственников наследовать это владение.

Не думаю, чтобы человек такого глубокого аналитического ума, как Сахаров, не догадывался, что только последовательно либеральная экономика может быть эффективной, однако его пугало, что в основе ее все-таки вроде бы лежит не желание улучшить жизнь как можно большего числа людей, а стремление получить прибыль. Понимание законов функционирования экономики, по-видимому, вступало тут в противоречие с принципами гуманизма, которым более всего был привержен ученый.

В целом, что касается социально-экономического мироустройства, Сахаров по всем признакам был сторонником социал-демократической модели, хотя избегал говорить об этом открыто. Мы знаем, что попытки утвердить эту модель — соединить либеральную экономику с активной и щедрой социальной политикой — предпринимаются с давних времен то в одной, то в другой стране, однако почти нигде не приводят к особенному успеху. В лучшем случае социал-демократы, пришедшие к власти, быстро растранижируют заработанное их

предшественниками-либералами и вновь уступают им место на капитанском мостике.

Однако в глазах людей «заботящиеся» о них социал-демократы, разумеется, выглядят предпочтительнее. Чем постоянно и пользуются политические соперники либералов.

В общем, Сахаров, видимо, искренне верил в преимущества социал-демократических принципов. Или, по крайней мере, в то, что именно в этом направлении следует вести поиск наилучшего миропорядка (поиск, обсуждение сложных проблем вообще никогда его не пугали, он предпочитал их самоуверенному провозглашению «истин в последней инстанции»).

Конечно, благодаря своим идеям и своим делам Сахаров стал одной из самых серьезных «проблем» для коммунистической власти. Но он и нынче был бы неудобен для властей. Без сомнения, он решительно протестовал бы против поправок демократии, против попыток восстановить канувшую в Лету империю. Его абсолютно не устроил бы воцарившийся на российской территории государственно-олигархический капи-

тализм (в истинном понимании слова «олигархический» – олицетворяющий собой неразрывную спайку денег и власти всех уровней). Не за это он боролся и страдал.

В принципе академик был бы гораздо более неудобен властям, чем многие оппозиционеры, чьи имена сегодня на слуху, ибо его международный авторитет, как уже говорилось, был недостижимо высок и не подвержен эрозии.

По принципиальным вопросам с Сахаровым договориться было нельзя. Его можно было травить в прессе, обличать посредством коллективных писем трудящихся, терроризировать анонимными звонками, бессудно отправлять в многолетнюю ссылку – все это было совершенно бесполезно. Некоторый эффект могли бы дать лишь пытки наподобие тех, каким подвергали его горьковские гэбистские эскулапы, – через варварское насильственное кормление во время голодовок. Да они и дали не такой эффект, который требовался...

В общем-то, активный гуманист и к тому же высокоавторитетный человек неудобен всегда и везде, ибо он упорно следует не принципам политической целесообразности, а не-

ким идеалам. К его слову прислушиваются миллионы, он возмущает «спокойствие», «стабильность», которые особо ценятся всякой властью.

Что касается идеалов, никто не знает, насколько они достижимы и надо ли им следовать всегда и повсюду, учитывая далеко не идеальную природу человека. Одни априори считают стремление к ним бессмысленным донкихотством, другие же, как сам Сахаров, напротив, полагают, что мир все-таки можно в чем-то улучшить – и в границах одной конкретной страны, и вообще. Иногда им в самом деле удается кое-чего добиться на этом пути. Или, по крайней мере, в очередной раз напомнить окружающим, как должен жить человек.

В этой небольшой книге речь идет о коротком, но важном эпизоде жизни Андрея Дмитриевича Сахарова – о его возвращении в Москву из семилетней мучительной, укоротившей его жизнь горьковской ссылки, куда он был отправлен брежневской властью в связи с его героической оппозиционной, правозащитной деятельностью, в частности – с его резким протестом против введения советских войск в Афгани-

стан в конце 1979 года. Мне довелось участвовать в этом эпизоде в качестве журналиста, сотрудника «Литературной газеты»: мы с моим коллегой Юрием Ростом взяли тогда у Андрея Дмитриевича ПЕРВОЕ В СОВЕТСКОЙ ПРЕССЕ ИНТЕРВЬЮ. Правда, в тот момент оно так и не было опубликовано, как не было опубликовано почти за двадцать лет до этого уже упомянутое интервью Эрнста Генри для той же газеты.

-----

## **II. ПЕРЕД ОСВОБОЖДЕНИЕМ**

**Безумная идея**

Идея сделать интервью с Сахаровым возникла у меня летом 1986 года, в июне или в июле, не помню точно. С одной стороны, это была совершенно безнадежная идея: имя Сахарова, уже более шести лет пребывавшего в горьковской ссылке, по-прежнему произносилось шепотом. С другой – стало вдруг очевидно: проблема Сахарова, напряжение, которое существует вокруг его имени, – все это уже никому не нужно (как-никак, второй год перестройки), от решения этой проблемы выиграли бы все. К тому же и тема для интервью имелась подходящая – наш длительный ядерный мораторий, сопровождаемый шумной пропагандистской кампанией. Полюбопытствовать у Сахарова, что он думает обо всем этом, было естественно: он ведь стоял у истоков и ядерного оружия, и борьбы с его испытаниями. Ну, а после того, как в советской печати – в «Литературной газете», где я тогда работал, – появилась бы такая публикация, процесс легализации Сахарова, по моему разумению, начался бы неизбежно.

В июле – августе (до его середины) я был в отпуске.



После, в сентябре, в отпуск ушел Юрий Петрович Изюмов, первый заместитель главного редактора «Литгазеты», с которым только и можно было заводить этот разговор: решить что-либо окончательно он, разумеется, был не в силах, но, прозондировав обстановку «в верхах», он, по крайней мере, мог бы сказать, стоит ли вообще «трепыхаться».

Требовалось, разумеется, не только согласие этих самых «верхов», но и самого Сахарова: как же без него? Связаться с ним я решил через Виталия Лазаревича Гинзбурга, академика, будущего нобелевского лауреата, заведующего отделом теоретической физики ФИАНа (полностью – Физического института Академии наук СССР имени Лебедева), в котором с 1969 года работал Сахаров (продолжал работать – или, по крайней мере, числиться – и во время пребывания в Горьком). Мне было известно, что сотрудники отдела время от времени навещают Сахарова, проводят с ним, так

сказать, домашний семинар, рассказывают научные новости. Им это милостиво позволили.

Пока суть да дело, решил поговорить с Гинзбургом – возьмет ли он на себя такую миссию? Звоню ему домой: дескать, хотел бы поговорить с вами. Гинзбург: «Давайте поговорим». Я: «Не по телефону». Секундное недоумение. С Гинзбургом мы знакомы давно, лет двадцать, у нас самые добрые отношения, но обычно наши контакты происходят по телефону (впрочем, иногда мы даже переписываемся по различным «деловым» обоюдointересным поводам). Гинзбург приглашает меня приехать. Встречает насмешливой и вместе любопытной фразой (он вообще человек любопытный):

– Так что же это за вопрос такой, который нельзя решить по телефону?

Я объясняю, что за вопрос. На лице его некоторое разочарование и досада. С Сахаровым он много хлебнул, так что все ему до чертиков надоело. Он объясняет, что контакты у них совсем нерегулярные: последний раз двое со-

трудников были в Горьком в мае месяце, после чего Сахаров просил не приезжать без его вызова. Дело в том, что жена Сахарова недолюбливает сотрудников ФИАНа, а потому, когда она находится в Горьком вместе с Сахаровым, он просит их приезжать только по его вызову. Когда ее нет, дело обстоит проще.

– А почему же она вас недолюбливает?

– Она считает, что мы недостаточно его защищаем, – раздраженно говорит Виталий Лазаревич. – Мы что, должны с флагом идти на Красную площадь? Довольно того, что мы сохранили хоть какой-то канал общения с ним. Когда его выслали, «они» вообще не знали, что делать дальше. Рассчитывали свои действия только на один ход. Это я ведь тогда предложил, чтобы к нему регулярно ездили сотрудники, а «они» вообще не знали, что делать.

«Они» – это, надо полагать, власти, устроившие Сахарову такую экзекуцию после его протеста по Афганистану.

Сахарова арестовали и выслали в Горький 22 января

1980 года. Первым, вроде бы вполне естественным, порывом начальства было уволить его из института. Однако на каком основании это следовало сделать, было неясно: никакого документа, по какой причине академик был подвергнут каре, — во всяком случае, как говорится, «в открытом доступе», — не существовало. «Сверху» дирекции хоть и «советовали» вывести академика «за штат», но как-то не особенно уверенно и сильно, рекомендовали действовать «по закону». По какому такому закону? Никакого подходящего к данному случаю закона не было. Эта неопределенность была расценена как негласное разрешение: можете не увольнять.

Кстати, думаю, «наверху» это сочли за лучшее еще и потому, что зарубежным критикам гонений на Сахарова всегда можно было ответить: да ничего особенного мы с ним не делаем; ну да, он сменил место жительства, но, видите, его даже с работы не выгнали.

В общем — не уволили. Но — что делать дальше? «Старшие» в теоротделе — Виталий Лазаревич Гинзбург, Евгений Львович Фейнберг и др. — придумали план: сотрудники

отдела будут регулярно ездить к Сахарову в Горький и проводить там своего рода семинары – знакомить с научными новостями, обсуждать наиболее интересные проблемы. Оставалось немного – получить разрешение.

После некоторой, – впрочем, не очень долгой – волынки, оно было получено. Видимо, тут действовала та же логика: о чем вы шумите – человек оставлен на работе, даже без строгой изоляции, вон его даже коллеги навещают.

И дело, хоть со скрипом, но пошло. Всего в Горький съездили семнадцать сотрудников отдела, некоторые не по одному разу.

– В общем, так, – заключает Гинзбург наш разговор, – сам я никакой инициативы проявлять не буду. Хватит. Если вы получите разрешение на интервью, – пожалуйста, я могу вам помочь, и связаться с «выдающимся ученым» (в голосе Виталия Лазаревича слышится некоторая насмешка. – **О.М.**), и поехать к нему. Скорее всего, от нас поедет наш парторг Владимир Яковлевич Файнберг. Вы знакомы с ним?

Я сказал, что не знаком, но знаю это имя по научным

публикациям.

Гинзбург объяснил мне, что он начнет действовать, если ему позвонят из президиума Академии. Позвонить, по-видимому, должен главный ученый секретарь Скрябин. Именно от него недавно Гинзбургу был звонок с просьбой (и, соответственно, как бы с благословением) побеседовать с корреспондентом западногерманского журнала «Штерн» Марио Дедериксом (статья Дедерикса «Мужество отчаяния», в которой были приведены несколько фраз Гинзбурга и его коллеги, тоже академика, Евгения Львовича Фейнберга о Сахарове, была опубликована в номере сорок первом «Штерна» за 1986 год).

Мы еще немного поговорили о том, о сем. Гинзбург меня порасспросил об откликах на его статью «Кое-что о крайностях бюрократизма», которую я как заведующий отделом науки напечатал в «Литературной газете» летом (речь в ней шла о засилье бюрократии в Академии наук), рассказал, что у них в институте, да и вообще в Академии, после

этой статьи ничего не изменилось; пожалуй, даже, бюрократы «еще пуще взъярились», назвал президента Академии Александрова... не вполне приличным словом, добавив, что ему давно уже пора покинуть президентское кресло.

На том и расстались. У меня осталось впечатление, что Гинзбург недоволен моим визитом и вообще затеей с Сахаровым.

Эта беседа состоялась 26 сентября, а через неделю, 3 октября, я был в ФИАНе на капустнике, посвященном семидесятилетию Гинзбурга, вручил ему в качестве презента гранки с откликами на его статью. И вновь мне показалось, что он отнесся ко мне холодно. Чего никогда раньше не бывало.

### **Ухабы на дороге в Горький**

Возвращаясь несколько назад... Как уже сказано, в стремлении сохранить сосланного Сахарова для науки – да и не только для науки! – фиановцы, в первую очередь

Гинзбург, затеяли, конечно, в высшей степени благородное дело. Но как им было нелегко! Проблемы постоянно возникали с обеих сторон – и со стороны власти, КГБ, и, как ни странно, со стороны самого Андрея Дмитриевича и его супруги.

Так, уже после первых трех визитов Гинзбург получил от Сахарова письмо, в котором тот просил воздержаться от командирования к нему очередных двух сотрудников, поскольку он хотел бы увидеть двух других. И вообще, по его мнению, более чем странным выглядит положение, когда для поездок к нему «выделены» только четыре сотрудника ФИА-На.

«Принципиально недопустимо, – писал Сахаров, – чтобы в решении такого вопроса принимали участие какие-либо «инстанции», вообще кто-либо, кроме непосредственно заинтересованных лиц».

Под «инстанциями», естественно, подразумевался КГБ.

Вторая причина, почему Сахаров отказывался прини-



мать у себя институтских коллег, была связана с тем, что в ту пору он добивался, чтобы власти разрешили выехать в США невесте сына Елены Георгиевны Лизе Алексеевой.

«Поэтому я вынужден, — писал в заключение Сахаров, — пока Алексеева не будет выпущена из СССР и пока с сотрудников Теоротдела, кроме четырех, не будет снят запрет на поездки, воздерживаться от каких-либо контактов с советскими научными учреждениями, в частности, с Академией наук и с ФИАНом».

Гинзбург ответил, что никаких ограничений на состав сотрудников, которые могут приезжать в Горький, на самом деле нет, — просто план ближайших поездок составлен так, что сначала едут одни, потом другие. Так что здесь просто какое-то недоразумение. Что касается проблемы Алексеевой, — это вообще вне его, Гинзбурга, компетенции. В любом случае, если Андрей Дмитриевич этого желает, ближайшая поездка будет, конечно, отменена.

«Если Вы захотите в будущем, чтобы сотрудники Отдела приехали к Вам или оказали какую-либо иную помощь в

научной работе, сообщите нам об этом. Мы постараемся тогда сделать то, что сможем».

Так заканчивалось письмо Гинзбурга.

Схожие препятствия для поездок сотрудников ФИАНа в Горький, в основе которых лежали не какие-то внешние причины, а нежелание самого Сахарова видеть их у себя, возникали и в дальнейшем. Тем не менее, после какого-то перерыва поездки возобновлялись и длились почти до самого освобождения ученого.

## **Идея не безумная, но... требуется «добро» ЦК КПСС**

2 октября 1986 года зашел к вернувшемуся из отпуска Изюмову. Со словами:

– У меня есть одна безумная идея.

И объяснил, в чем дело. Юрий Петрович со свойственной ему невозмутимостью отвечал, что эта идея совсем не безумная и что он берется поговорить о ней на Старой пло-

щади (то есть в ЦК КПСС).

В соответствии с замыслом, уже известным читателю, в качестве темы для беседы с Сахаровым я предложил ядерный мораторий. К этому времени мораторий, объявленный нами в одностороннем порядке 6 августа 1985 года, продлевался уже четыре раза. Я был уверен, что Сахаров поддерживает идею моратория.

Недели через две я напомнил Изюмову о нашем разговоре. Он сказал, что не предпринимал пока никаких шагов, поскольку секретарь ЦК А.Н.Яковлев, к которому надо было бы в первую очередь обратиться, еще не вернулся из Рейкьявика (а прежде было не до того, ибо шла подготовка к Рейкьявику). В исландской столице тогда состоялась знаменитая, вошедшая в историю встреча Горбачева и Рейгана. Она хоть и не принесла конкретных результатов (как считает Горбачев, – по вине Рейгана), но стала началом дальнейших переговоров и успешных шагов по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

17 октября Изюмов мне позвонил по внутреннему

прямому телефону и попросил, чтобы я подготовил короткую справку насчет моего предложения для главного редактора «Литгазеты» А.Б. Чаковского: лучше все-таки, если этим займется именно он (он тоже только что вышел из отпуска). Изюмов уже говорил с Чаковским по этому поводу, тот просил прописать пояснее насчет посредничества В.Л. Гинзбурга.

Я тут же сел за машинку и написал:

«Предлагается подготовить интервью на тему «Советский мораторий на ядерные испытания: его значение и перспективы, ближайшие и отдаленные». Публикация такого интервью могла бы принести многие политические выгоды.

Вопросы в Горький мог бы передать кто-либо из сотрудников теоретического отдела Физического института Академии наук СССР, которые регулярно ездят в этот город. Принципиальное согласие на этот счет заведующего отделом академика В.Л. Гинзбурга имеется. Соответствующие указания он должен получить от президента Академии наук СССР, скорее всего – через главного ученого секретаря-

ря академика Г.К.Скрябина».

Как видим, имя Сахарова в тексте не упоминалось.

«Для конспирации».

22 октября Юрий Петрович сказал мне, что «добро» от Чаковского на интервью с Сахаровым получено и что я могу действовать. Он добавил, что действовать надо энергично, поскольку интервью с Сахаровым добывается также редактор журнала «Новое время» Виталий Игнатенко. Воистину идея витает в воздухе.

В общем, колеса завертелись.

Через полчаса мне позвонил В.Л.Гинзбург и уже совсем другим голосом – как обычно, веселым и энергичным, – осознав, должно быть, что все это не пустые проекты, а дело серьезное, реальное, сообщил, что ему насчет интервью с Сахаровым звонил заместитель Скрябина член-корреспондент Академии Р.В. Хохлов, просил позвонить по «вертушке» в ЦК В.И. Кобышу. Виталий Кобыш – довольно известный журналист-международник. В ту пору он был завсектором в отделе международной информации ЦК.

Не очень понятно, правда, было, причем здесь международная информация, но Кобыш сотрудничал как обозреватель и в «Литературной газете», так что, может быть, Чаковский решил действовать через него как через «нашего человека в Гаване».

– Вы знаете, – простодушно признался Гинзбург, – я впервые в жизни говорил по «вертушке». Я сказал сначала, что у меня нет «вертушки», но Хохлов посоветовал, чтобы я позвонил из кабинета нашего директора Басова. Кобыш передал мне вашу просьбу (вот уже, с какой стороны до Гинзбурга дошла моя просьба! – **О.М.**) и просил, чтобы я помог вам поговорить с интересующим вас лицом. Так что с этой стороны все в порядке. Теперь я поговорю с нашим начальником режима и, если и у него не будет возражений, напишу письмо в Горький, а уж там как получится. Я совсем не уверен, что наш сотрудник (то есть Сахаров. – **О.М.**) захочет давать интервью. Но со своей стороны я все сделаю.

Через несколько минут снова позвонил Изюмов. Он

сказал, чтобы я готовил вопросы, но с самим интервью все-таки повременил бы, поскольку это дело согласовано «не до самого конца».

Ну да, разумеется, завсектором ЦК – это еще не «самый конец». Скорее только «самое начало». Я отвечал, что мне уже звонил Гинзбург и что он начинает действовать.

– Ну, он-то пусть действует... – сказал Юрий Петрович.

Как видим, колеса хоть и завертелись, но – со скрипом.

Очередной звонок Гинзбурга – 29-го. Он сказал, что все в порядке, письмо подготовлено, но эти... – он ввернул крепкое словечко, – почему-то могут его отправить только завтра. Я ответил, что ничего – днем раньше, днем позже...

Итак, предварительная подготовка закончена. Начальство, хоть и «не на самом верху», но вроде бы не возражает. Остается выяснить, как ко всему этому отнесется сам «виновник торжества».

## Сахаров отказывается от интервью

Письмо В.Л.Гинзбурга А.Д.Сахарову:

«Дорогой Андрей Дмитриевич!

Большое спасибо за Вашу телеграмму, которую я позавчера получил.

У меня накопилось несколько дел, о которых и пишу.

1. Еще в начале сентября Е.Л.Фейнберг послал Вам письмо, в котором спрашивал, хотите ли Вы, чтобы кто-то из сотрудников приехал и когда. Но никакого ответа мы до сих пор не получили.

2. С месяц назад из Президиума АН СССР попросили, чтобы Е.Л. (Е.Л.Фейнберг. – **О.М.**) и я дали интервью корреспонденту немецкого журнала «Штерн». Этот корреспондент (фамилии не помню) и с ним еще один иностранный корреспондент, не знаю, откуда, пришли к нам в ФИАН, и мы с Е.Л. отвечали на его вопросы (второй корреспондент, в основном, молчал), касающиеся Вашей работы в отделе и вообще. Никакого текста у меня нет, мы говорили правду, на-



сколько четко и удачно, не знаю. Мне как раз сегодня сказали, что в «Штерне» появился какой-то материал, но я его не видел, надеюсь, они не переврали, но ручаться, конечно, не могу.

3. Ко мне обратился зав. отделом науки «Литературной газеты» Олег Павлович Мороз. Я его давно знаю, правда, не близко, но имею вполне определенное положительное мнение. Последнее вытекает, в частности, из его многочисленных статей в газете. Так вот, у О. П. Мороза возникла идея взять у Вас интервью, преимущественно о моратории на ядерные испытания, о его значении для замораживания гонки вооружений и т.п. Я

ответил, что против его идеи, конечно, ничего не имею и был бы рад появлению Вашего интервью. Однако обращаться к Вам я не буду до тех пор, пока мне не сообщат, что при Вашем согласии интервью возможно. Сейчас мне как раз сообщили, что препятствий для реализации замысла О.П.Мороза нет. Таким образом, как нам кажется, если Вы согласны и готовы дать интервью, то лучше всего, если О.П.Мороз приедет

к Вам с нашей очередной парой сотрудников. Мы предполагаем, что одним из

них может быть В.Я.Файнберг или Е.С.Фрадкин.

Ждем Вашего ответа.

Привет Елене Георгиевне. Привет от Евгения Львовича.

29.10.86 г. Ваш В.Л.Гинзбург.

P. S. Как Ваше здоровье? Само собой разумеется, желаю всего наилучшего».

Ответ пришел 10 ноября. Фототелеграмма:

«Огорчен, что Вы и Евгений Львович дали интервью «Штерну» без согласования со мной. Прошу прислать опубликованный текст (номер журнала), если необходимо, приложив усилия.

Не считаю возможным давать интервью «Литературной газете», вообще кому-либо...»

Далее следовало по-английски или по-немецки (а может быть, просто русский текст был транскрипирован латинскими буквами – у меня имеется лишь машинописная

копия фототелеграммы):

«...находясь в незаконной депортации и изоляции — с петлей на шее.

Жду в первую очередь приезда Б.Л.Альтшулера и Ю.А.Гольфанда. Письмо с этой просьбой послано ранее.

В письме М.С.Горбачеву (от 23.8.86) (копия М.А.Маркову) мною выражено желание принять участие в обсуждениях мирной термоядерной проблемы (МТР, лазерное обжатие). Прошу всех сотрудников, в частности А.Д.Линде, подчеркивать это при международных контактах.

Высылаю для сведения копию письма.

6.XI.86 С уважением А.Сахаров».

Вот так... Все наши усилия добиться «высочайшего» разрешения на интервью с опальным ученым оказались напрасны. Он сам не желает его давать.

В своей книге воспоминаний «Постскриптум: Книга о горьковской ссылке» Елена Георгиевна Боннэр так напишет об этом:

«В ноябре 1986 года Виталий Лазаревич Гинзбург написал нам в Горький, что «Литературная газета» хотела бы взять интервью у Андрея, и если Андрей согласен, то корреспондент газеты приедет в ближайшие дни вместе с физиками теоротдела... Андрей Виталию Лазаревичу ответил, что он не будет давать никаких интервью «с петлей на шее» (вот и Фучика вспомнили). Так что вопрос приезда и кора, и физиков отпал (отпал приезд «кора», то есть мой; непонятно, однако, почему отпал приезд физиков; видимо, потому, что ФИАН опять собирался прислать «не тех» сотрудников ФИАНа, которых желал бы видеть у себя Сахаров. – **О.М.**)»

Современному читателю имя Юлиуса Фучика, чехословацкого журналиста, коммуниста-подпольщика, арестованного и казненного немцами в 1943 году, мало что говорит, но в советские времена в советской прессе оно постоянно, громко звучало. Пребывая в заточении в пражской тюрьме Панкрац, он написал свою самую известную книгу «Репортаж с петлей на шее».

Та часть письма, полученного Гинзбургом, где Сахаров говорит о своем огорчении по поводу того, что Гинз-

бург и Фейнберг дали интервью журналу «Штерн», не показав предварительно текст ему, Сахарову, вызвала у Виталия Лазаревича негодование:

– Почему я должен ему что-то показывать? Это ведь мое интервью. Я уже говорил ему, чтобы он оставил свои главлитовские замашки.

Я попросил, чтобы сотрудник, который поедет к Сахарову, все-таки еще раз поговорил с ним об интервью. Может быть, его решение было принято импульсивно, может быть, он не понимает, на каком уровне было дано «добро».

– Да все он понимает! – отвечал Гинзбург раздраженно. – Этот уровень оказывает на него обратное действие.

Такие вспышки взаимного раздражения между Сахаровым и его коллегами-фиановцами возникали нередко. Не все коллеги, разумеется, позволяли себе высказывать его вслух, но Виталий Лазаревич не считал нужным его скрывать.

Он сказал, что вряд ли кто-нибудь из сотрудников вообще поедет к Сахарову. Ну вот, значит, точно, – все упер-

лось в «персоналии» посланцев. Конечно, трудно было составлять план, намечать даты поездок, разговаривать с людьми, коих предполагалось направить в Горький, согласовывать все с начальством (как же без этого!) и в последний момент – узнавать, что Сахаров желает приезда совсем других...

### **«Почему вы не защищаете Андрея?»**

Отступать не хотелось. Но и приставать к раздраженному Гинзбургу было неудобно. Я позвонил его сотруднику, давнему знакомому Борису Михайловичу Болотовскому: он тоже ездил к Сахарову в Горький. Встретились с ним возле Библиотеки Ленина. Я посадил его к себе в машину, подвез до дома. По дороге объяснил, в чем дело, попросил сделать одолжение: если все же кто-то поедет в Горький, передать с оказией мои вопросы. Болотовский обещал. Постояли возле его дома. Мой спутник рассказывал об эпизодах своей работы с Сахаровым, о встречах с ним. Работа была не столько

научная — они занимались довольно отдаленными друг от друга областями теоретической физики, — сколько «воспитательная»: Болотовский был парторгом теоротдела, и его заставляли «воспитывать» академика-«антисоветчика», что ничего, кроме иронии, ни у кого, конечно, не вызывало.

В Горьком у Сахаровых Борис Михайлович побывал лишь однажды, в ноябре 1984-го. Со своим коллегой по отделу Ефимом Самойловичем Фрадкиным, будущим академиком. Перед поездкой их предупредили, что никаких «посторонних» разговоров с Сахаровым они вести не должны. Да они и сами это прекрасно знали: всё насквозь прослушивается; если что, потом скандалов не оберешься, могут вообще запретить такие поездки. Однако, на удивление, Андрей Дмитриевич сразу же сам заговорил о «недозволенном» — об Афганистане. За такие «разговоры» он, собственно, как мы знаем, и оказался в Горьком. Сказал, что война там идет «на уничтожение афганского народа», что уже погибло около миллиона афганцев. Гости благоразумно помалкивали.

Потом разговор перекинулся на проблемы разоружения, очень волновавшие Сахарова, как и Афганистан. Андрей Дмитриевич спросил, читали ли гости его открытое письмо американскому физику Сиднею Дреллу по поводу опасности и ужасов ядерной войны. С этого-то письма и началась разнузданная травля Сахарова в советской печати. Болотовский читал и был с ним согласен, но... Скажешь, что читал, надо будет высказывать свою оценку со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да и вообще поинтересуются, откуда взял текст. Так что соврал – дескать, не читал. Коллега Бориса Михайловича тоже «не читал» – то ли в кавычках, то ли без.

Такой вот у них был разговор, не очень удобный для гостей. Гости должны были тщательно следить за каждым своим словом, в отличие от хозяина. В разговоре на «общие» темы тот ничего не боялся. О его взглядах его гонители были и так прекрасно осведомлены. Что ему могло грозить? Разве что ссылка в еще более отдаленные российские места – куда-нибудь за Урал, в Сибирь, а то и в Магадан, в



традиционные места ссылки.

Говорили, что Академия наук не только не защищает Сахарова, но и активно участвует в его травле и гонениях против него. А президент Академии Александров, по словам Андрея Дмитриевича, в беседе с американскими журналистами даже назвал его ненормальным.

Тут Елена Георгиевна вставила вопрос, с которым постоянно обращалась к фиановцам и который, как уже говорилось, вносил некоторое напряжение в отношения между ней и сотрудниками теоротдела:

– А вы почему не выступаете в защиту Андрея?

Она и в последующие месяцы и годы продолжала упрекать сотрудников ФИАНа в бездействии, фактически – в трусости. Хотя вряд ли такие обвинения были справедливы.

Как-то году уже в 1998-м, когда Андрея Дмитриевича давно не было в живых, Виталий Лазаревич Гинзбург в одной из публикаций в «Литературной газете» (я ее готовил) неосторожно упомянул об этих не прекращающихся упре-

ках Елены Георгиевны в свой и своих коллег адрес. Елена Георгиевна, естественно, как всегда, возмутилась. Друг Сахаровых физик Борис Львович Альтшулер попросил сделать «ответное» интервью с ней. Я созвонился с Еленой Георгиевной, поехал в знакомую квартиру на Чкалова. По ходу разговора мы то и дело вступали в пикировку по поводу того, правильно или не правильно вели себя финансы по отношению к покойному Андрею Дмитриевичу. Я как мог защищал их, а Елена Георгиевна до поры до времени сдерживалась в своем гневе. Но когда я уже уходил и в прихожей произносил свои последние аргументы, хозяйка вспыхнула и буквально вытолкала меня за дверь.

Интервью с ней, естественно, было опубликовано в «Литературной газете».

Вообще-то это не такой простой вопрос – вступать ли на стезю противостояния несправедливой власти или не вступать. Этим вопросом задавался еще принц Гамлет:

«Быть или не быть, вот в чём вопрос. Достоин ли  
Смириться под ударами судьбы,

Иль надо оказать сопротивление

И в смертной схватке с целым морем бед

Покончить с ними? Умереть. Забыться...»

Каждый решает для себя этот вопрос по- своему.

Большинство, как правило, «смирятся», меньшинство – «не смирятся». Что делать, жизнь человека – не такая уж долгая, и не каждому хочется ее укорачивать, идти если и не на смерть, то на какие-то страдания, какие-то невзгоды во имя борьбы за некие благородные идеалы, тем паче, что идеалы эти вряд ли всегда достижимы. «Не смиряющиеся», конечно, достойны всяческого уважения, но и «смиряющихся», всех, вряд ли стоит обличать и упрекать «в трусости». Многие ведь, и не вступая в «смертную схватку с целым морем бед» (по-моему, лучше сказать «с целым морем зла») делают все, что в их силах, ради торжества этих самых, в общем-то, в конечном счете, недостижимых, идеалов.

Вот и сотрудники ФИАНа делали то, что было в их силах. Спасибо им за это.

Кстати, к этой теме хорошо подверстывается один из

эпизодов, случившихся во время той самой поездки Болотовского и Фрадкина в Горький. Сахаров передал с посетителями «недозволенное» письмо кому-то. Точнее – передал его Фрадкину, которого лучше знал: они вместе трудились еще над «бомбой». Болотовский случайно догадался о послании по письменному «разговору» между Сахаровым и Фрадкиным. К таким «разговорам», которые не улавливались «прослушкой», часто прибегали во время визитов. Так вот Борис Михайлович догадался, но... промолчал. Письмо спрятали на дне сумки-термоса, в котором привезли продукты, под газетой, постеленной на дне. В принципе в случае «шмона» найти это письмо было легче легкого... В том нашем разговоре Болотовский рассказал об этом эпизоде вскользь. Позже я прочел о нем в его очерке «Один день в городе Горьком» (в сборнике «Он между нами жил...») более подробно:

«Всю дорогу я боялся. Сначала боялся, что мы попадемся с письмом, и оно не дойдет до адресата. Потом, когда мы письмо довели и благополучно передали, боялся,

что это как-нибудь станет известно, и будут нам дополнительные неприятности. А чего боялся? Ведь ничего мы плохого не сделали. Никаких секретов, составляющих государственную тайну, в письме не было и быть не могло. Тому, кто хоть немного знал Андрея Дмитриевича, такая мысль никогда бы не могла прийти в голову. А было в этом письме то, о чем многие и многие люди хотели знать и должны были знать, но не знали, потому что от них это скрывали – описание бедственной жизни двух свободных людей в условиях несвободы и беззакония. Это не мы с Ефимом плохо поступали, а те, кто незаконно заточили великого человека в черный ящик. Так я думал в свое оправдание, но все равно боялся, хотя и тени сомнения у меня не было в том, что мы поступили правильно. На следующий день мы встретились в Отделе.

– Ефим, – сказал я, – мы с тобой вчера привезли письмо. Ефим молчал.

– Что ты молчишь? Андрей Дмитриевич сказал (написал. – **О.М.**): «Скажите Боре». Я видел.

Ефим еще помолчал, а потом произнес:

– Да, я хотел тебе сказать, но не сейчас. Потом...

Если будет шум, имей в виду: ты тут ни при чем. Я за все отвечаю... Ничего не случилось. Но, на всякий случай, ты ничего не знаешь».

Это был не единственный случай, когда Андрей Дмитриевич передавал с сотрудниками ФИАНа «на волю» нечто недозволенное. Однажды по этому поводу у него с коллегами случилась довольно серьезная размолвка. О ней подробно рассказал Виталий Лазаревич Гинзбург в своей книге «О физике и астрофизике» (отрывок из нее приведен в приложении к этой книге).

...Мой разговор с Болотовским состоялся 11 ноября.

Дня через два я все же решил послать Сахарову вопро-

сы, не дожидаясь okazji, прямо по почте. Несколько смущаясь, позвонил Гинзбургу, чтобы уведомить его об этом намерении. Виталий Лазаревич отнесся к этому спокойно.

– Пожалуйста, посылайте, – сказал он. – Только я тоже посылаю ему письмо, в котором объясняю, что вы не какой-нибудь там неизвестный журналист, а человек хорошо нам известный. Так что вам есть смысл подождать недельку, пока он получит мое письмо – я его посылаю в понедельник 17-го.

На том и остановились – что я неделю подожду. Отправлю вопросы числа 24-го. Гинзбург дал мне адрес Сахарова в Горьком.

Очень меня тронуло, что Виталий Лазаревич не плюнул на все это, не отказался продолжать оказывать мне помощь. Хотя я не думал, конечно, что все застопорилось из-за того, что моя фигура была не известна горьковскому узнику.

**«О.П.Мороз – не какая-то темная личность...»**

Письмо В.Л.Гинзбурга А.Д.Сахарову от 17 ноября 1986 года (привожу его с сокращениями):

«Дорогой Андрей Дмитриевич!

Ваше фотописьмо я получил 10 ноября. Отвечаю не сразу, ибо хотел дождаться копии, о которой Вы упоминаете. Однако не получил ее (сегодня 17 ноября) и решил не откладывать настоящее письмо.

В ответ на Ваше фотописьмо хочу заметить следующее.

1. В вопросе о Вашем гипотетическом интервью «Литгазете» моя роль сводилась лишь к тому, чтобы сообщить Вам о предложении О.П.Мороза и, особенно, о нем самом. Это не какая-то темная личность, а известный мне квалифицированный и прогрессивно настроенный журналист. В тот же день, когда получил Ваше фотописьмо, я позвонил О.П.Морозу и сообщил о Вашем отказе дать ему интервью.

2. Журнала «Штерн» у меня нет, получить его я, вероятно, не могу, да и нет у меня такого желания. Я получил, однако (прислали в ФИАН), русский перевод (и рад этому, ибо со-



всем забыл немецкий язык) того куска из «Штерна», который касается Вас. Копию (полную и точную) полученного мной текста прилагаю. Там имеется по фразе соответственно от имени Е.Л. и моего. Передано неточно, но спасибо и за то, что не совсем наоборот. Вот и все «интервью». Оно было для корреспондента, по-видимому, лишь поводом посетить ФИАН. Странно, что наш первый этаж он счел третьим этажом. Табличка на двери Вашей комнаты, действительно, как висела, так и висит – это не «потемкинские деревни» в честь западного корреспондента.

К сожалению, не могу обойти молчанием первую фразу Вашего фотописьма («огорчен, что Вы и Е.Л. дали интервью «Штерну» без согласования со мной»). Как это понимать? Во-первых, что и как в разговоре можно «согласовывать», если устно отвечаешь на заранее неизвестные вопросы? Во-вторых, почему, отвечая на какие-то вопросы от своего и только от своего имени, я должен что-то согласовывать? Подобное требование (или пожелание) особенно странно, когда оно исходит от Вас. (Вот опять прорывается это раздра-

жение; по-моему, в данном случае вполне обоснованное. –

**О.М.)**

3. Буду, естественно, очень рад Вашему возвращению в Москву, но мне совершенно неизвестно, когда это произойдет. Поэтому кажется целесообразным уточнить Ваши взаимоотношения с нашим Отделом. (Разговор о возвращении Сахарова в Москву, видимо, возник потому, что уже просочились какие-то слухи о соответствующих обсуждениях в Кремле, несмотря на их секретность. – **О.М.)**

Недавно в ФИАНе прошла переаттестация научных сотрудников. Вы остались в прежней должности старшего научного сотрудника и с прежним окладом (400 руб. в месяц). Замечу, что ни одному из наших старших сотрудников (включая, конеч-о, и меня) зарплата повышена не была.

В отношении посылки Ваших статей в печать и пересылки Вам литературы, насколько я знаю, все обстоит благополучно.

Теперь о поездках к Вам сотрудников Отдела. Они ездят только для научных контактов и вполне добровольно –

каждый раз мы спрашиваем, может ли и хочет ли сотрудник поехать. Был случай, когда один из сотрудников (он у Вас никогда не был) ответил, что ехать не хотел бы, если ему не прикажут. Разумеется, «приказа» не последовало. Вполне допускаю, что и еще кто-то не захочет ездить. В таких случаях я не считаю возможным оказывать какое-либо давление. Уверен, что и Вы не хотели бы, чтобы к Вам ездили как-то не добровольно. Другая сторона медали – наши сотрудники ездят и могут ездить к Вам только в служебные командировки. Это необходимо, поскольку они ездят в служебное время, нужно оплачивать проезд, и, наконец, без командирования к Вам нельзя попасть. Поэтому для каждой поездки мы направляем в дирекцию стандартные бланки с просьбой о командировке. Никаких трудностей у нас с этим, если правильно помню, не было. Отсюда ясно, что направлять к Вам я могу только сотрудников нашего Отдела...(Борис Львович Альтшулер, которого желал видеть у себя Сахаров, не работал тогда в ФИАНе. – **О.М.**)

Если Вы хотите, чтобы к Вам в ближайшее время прие-

хали сотрудники Отдела, пожалуйста, сообщите.

С уважением В.Л. Гинзбург.

Р. S. Пользуюсь случаем приложить два своих ненаучных опуса и несколько оттисков научных статей».

---

### III. ОСВОБОЖДЕНИЕ

#### **Сенсация: Сахаров возвращается из ссылки**

После разговора с Гинзбургом я засел за вопросы, которые я не терял надежды задать-таки Сахарову. И тут выяснилось, что придумать их не так-то легко. Слишком узкая тема – мораторий. Вопросы получались неинтересными:

«1. Более года СССР не проводит ядерных испытаний, добровольно придерживается моратория. Какое значение, по Вашему мнению, имеет этот мораторий для сегодняшней обстановки в мире и для будущего развития событий, для решения проблемы прекращения гонки вооружений?

2. Следует ли, на Ваш взгляд, продлевать мораторий, если США не присоединятся к нему?..»

И вдруг мне в голову приходит простая мысль, что я просто не успеваю со своими вопросами. Допустим, я пошлю их 24-го. Сахаров получит их в начале декабря. Предположим, он быстро ответит и ответит положительно. Все

равно наша встреча не сможет состояться раньше 15 декабря. О чем мы с ним будем беседовать? О моратории, срок которого истекает через полмесяца и совсем не ясно, будет ли он продлен еще раз (скорее всего нет — сколько можно продлевать?).

Единственный выход теперь уже — повременить с посылкой вопросов, отправить их сразу после Нового года, когда все станет ясно. Тогда можно будет говорить о новой ситуации.

События, однако, развивались быстрее, чем можно было ожидать. 19 декабря было опубликовано «Заявление Советского правительства», в котором, как и ожидалось, речь шла о том, что СССР не может продолжать мораторий до бесконечности, говорилось, что в новом, 1987 году испытания будут возобновлены после первого ядерного взрыва в США.

Ускоренно развивались и события другого рода. В тот же день, 19 декабря, ко мне зашел мой коллега-«литгазетовец» Саша Егоров и сказал: только что по радио передано

сообщение – Сахаров возвращается из Горького в Москву.

На следующий день оно появилось в газетах:

«В.Ф.Петровский (замминистра иностранных дел СССР. – О.М.) официально проинформировал собравшихся (дело происходило на пресс-конференции в МИДе. – О.М.) о том, что академик А.Д.Сахаров обратился с просьбой к советскому руководству разрешить ему перебраться в Москву. Просьба эта была рассмотрена соответствующими организациями, в том числе Академией наук и административными органами. Был, в частности, принят во внимание факт, что академик Сахаров в течение длительного времени находится в Горьком, и в результате рассмотрения этой просьбы было принято решение разрешить вернуться академику Сахарову в Москву. Одновременно Президиум Верховного Совета СССР принял решение о помиловании гражданки Боннэр. Таким образом, и академик Сахаров, и Боннэр имеют возможность вернуться в Москву, а академик Сахаров может активно включиться в академическую жизнь теперь на московском направлении деятельности Академии наук».

Забавно сказано: «Был, в частности, принят во внимание факт, что академик Сахаров в течение длительного времени находится в Горьком...» Как это? Что, этот «факт» только что обнаружился? И как этот «факт» мог повлиять на последующее решение «разрешить академику Сахарову вернуться в Москву»? Эту фразу можно было расшифровать и так: посидел там в Горьком в ссылке семь лет и хватит, можно его помиловать, в следующий раз будет осмотри-тельной.

И еще примечательная фраза: «академик Сахаров может активно включиться в академическую жизнь теперь на московском направлении деятельности Академии наук». Стало быть, до последнего времени Сахаров всего-навсего работал «на горьковском направлении», только и всего.

Кстати, теперь понятна стала и упомянутая в письме Гинзбурга Сахарову возможность возвращения Андрея Дмитриевича в Москву: значит, Виталий Лазаревич уже что-то слышал об этом, чего не слышал я. Ну да, ведь прось-



ба Сахарова разрешить ему перебраться в Москву какое-то время рассматривалась «соответствующими организациями, в том числе Академией наук», так что мимо Гинзбурга, непосредственного сахаровского «начальника», эта просьба уж точно не прошла.

### **Сумбурная встреча на вокзале**

Мой товарищ по газете Юра Рост решил встретить Сахаровых на вокзале (он не знал о моих намерениях сделать интервью, так же, как я не знал об этих его намерениях пофотографировать и записать слова Сахарова на перроне, — это уж он после мне все рассказывал). Узнал дату приезда — 23 декабря, но номер поезда никак не мог выяснить. Позвонил двум-трем знакомым, которые вроде бы должны были знать, но те ничего не сказали и к тому же струсили: чего это он их втягивает в эти дела? Юра стал рассуждать логически: наверняка, это должен быть поезд, отправляющийся из Горького, а не проходной. Позвонил в справочную. Пер-

вый такой поезд прибывает в Москву в четыре с чем-то. Вряд ли, конечно, они приедут с этим поездом – неудобный, но вдруг все-таки... Сел в машину, отправился на Ярославский вокзал. Мимо. На перроне ни одного иностранного корреспондента. Следующий поезд – в семь с чем-то. Вернулся домой, подремал часа полтора, снова сел в машину. Уже подъезжая к трем вокзалам, заметил впереди «Тойоту» с красным номером, начинающимся на «К» (иностраный корреспондент), и сразу понял: точно, этот поезд. У вокзала стояло несколько десятков (!) таких машин. Посмотрел на расписание: поезд должен прийти на первую платформу, но, пока разыскивал первую, услышал по радио: поезд такой-то прибывает на платформу 1-а. У подвернувшегося носильщика спросил, где платформа 1-а. Носильщик махнул рукой в ту сторону, куда следовало двигаться, и подмигнул понимающе:

– Все ваши уже там.

Пройти на платформу 1-а оказалось не так-то просто. Блуждая, Юра выскочил на соседнюю с ней, увидел напро-

тив толпу корреспондентов. Чтобы не обходить, спрыгнул прямо на рельсы.

– Ни один из наших зарубежных друзей руки не подал! – после возмущенно рассказывал он.

Но «друзей» тоже можно понять: для чего им лишний конкурент?

Кое-как Юра вскарабкался на платформу. Корреспонденты толпились возле остановки первого вагона, видимо, не зная, в каком вагоне приедут Сахаровы. Опять-таки, рассуждая логически, Юра «вычислил»: они должны быть в СВ. И когда горьковский поезд стал втягиваться между платформ, мой приятель ринулся вдоль вагонов, заглядывая в окна. Помимо обычного репортерского желания оказаться на месте события первым, им двигала жажда «утереть нос» невежливым «зарубежным друзьям».

Естественно, он оказался возле СВ первым, успел сделать несколько снимков выходявшего из вагона академика и занять удобную позицию с диктофоном, прежде чем нахлынула сообразившая, в чем дело, толпа «зарубежных друзей»

– всего человек сто (был, правда, в этой толпе еще один наш фотокорреспондент). Елене Георгиевне удалось довольно легко добраться до машины, а Сахаров минут сорок пробивался через толпу. Впрочем, толпа двигалась и останавливалась вместе с ним.

Так в этом монолитном движении и периодических остановках и происходила первая пресс-конференция Сахарова на московской земле. Кто-то выкрикивает вопрос. Тут же раздается другой. Академик теряет, на какой отвечать. Старается отвечать на оба. Получается мешанина. После выясняется, что выкрикнувший какой-то вопрос не расслышал ответа – вопрос повторяется. Сахаров покорно повторяет свой ответ (выглядит он неважно, но старается держаться бодро).

– Как вы расцениваете свое освобождение?

– Я удовлетворен. Меня защищали собратья-ученые. Защищали государственные деятели. Защищали просто друзья. Защищали мои дети. Наконец, защищала моя жена. Да, именно эта защита сделала возможным наше освобождение.

Толпа корреспондентов еще не отошла от вагона. Чей-то возмущенный вопль:

– Дайте пассажирам выйти, товарищи! Да что же вы делаете!

Дуплетом:

– Как вы себя чувствуете?

– Как вы оцениваете международное и внутреннее положение?

– Я – ничего. Жена в плохом состоянии приехала. Ноги ее болят. Это, наверное, еще последствия контузии. Военной. Что касается политики... В вопросах политики я еще не разобрался, но я очень заинтересован всем тем, что происходит в стране, и хочу составить свое мнение.

Над толпой стоит гул. Слышатся обрывки фраз. В великом возбуждении, оттирая друг друга, братья-журналисты норовят просунуть каждый свой вопрос.

– Как вы предполагаете – остаться в Москве или дальше поехать, за границу?

Спрашивающий, видно, совсем не представляет себе

реальную ситуацию в нашем отечестве: вот решит Сахаров поехать за границу – и поедет, никто ему слова не скажет.

– Я не предполагаю, что мне будет это разрешено, и я не претендую на это поэтому.

Кто бы мог подумать тогда, что не пройдет и двух лет, как «сверхзасекреченный» Сахаров действительно отправится в поездку в Америку, после – в Западную Европу, будет принят Папой Римским в Ватикане...

Настает и для Роста черед вставить слово:

– Андрей Дмитриевич, чем вы собираетесь заниматься?

– Я занимаюсь космологическими проблемами, теорией элементарных частиц. Я буду заниматься также – вновь вернуться – проблемой управляемой термоядерной реакции.

Из задних рядов кто-то кричит:

– Андрей Дмитриевич, сюда, пожалуйста!

Сахаров озирается растерянно.

Голос с акцентом:

– Андрей Дмитриевич, об Афганистане... Какие у вас

чувства сейчас?

– Что вы говорите? – переспрашивает Сахаров.

– Об Афганистане – какие у вас чувства?

Видно, что Сахаров заранее обдумывал ответ на этот вопрос. Говорит несколько официально:

– Я считаю, что это самое больное место в нашей международной политике. И я надеюсь, что в этой области будут приняты еще более решительные меры, чем сейчас. Более решительные и более кардинальные. Я на это надеюсь.

Спрашивают, действительно ли ему в Горький звонил Горбачев?

– Да, пятнадцатого числа нам установили телефон. Неожиданно, ночью. Мы даже немножко испугались. А шестнадцатого в три часа позвонил Михаил Сергеевич Горбачев, сказал, что принято решение о моем освобождении, что я смогу вернуться в Москву и сможет вернуться в Москву БоннЭр, как он сказал, – неправильно назвал фамилию моей жены. И я ему сказал, что я благодарен за это решение, но что мои чувства очень смутные, потому что это

совпало с огромной трагедией – со смертью Анатолия Марченко, замечательного человека, героя борьбы за права человека. И я ему напомнил о своем письме от 19 февраля об освобождении узников совести, людей, пострадавших за убеждения, не применявших насилия. И сейчас, после смерти Марченко, мои мысли об этом еще более напряженные, более трагические. Потому что – кто следующий? Кто погибнет следующий? Это недопустимо для нашей страны – то, что у нас есть узники совести, люди, страдающие за убеждения. Я постараюсь приложить максимум усилий, сделать, что от меня зависит, для того, чтобы это прекратилось.

В этом весь Сахаров: сразу же вслед за словами благодарности, не ограничиваясь ими, – сказать то, что его высокопоставленному собеседнику будет явно неприятно слышать, но что он, Сахаров, не сказать не может.

В течение всего этого монолога постоянно слышатся выкрики:

– Задние, не напирайте! Не напирайте, задние!

Сахаров терпеливо их переживает и продолжает свою



речь.

– Анатолий Дмитриевич, какие у вас сейчас чувства, что вы в Москве?

Кто-то перепутал имя академика.

– Я очень рад, что я в Москве. Я, конечно, отвык от шума, отвык от людей. Для меня такая масса людей непривычна, и создается какое-то ощущение стресса. Но я понимаю, что мое освобождение – это очень важное для меня дело...

Снова вопрос того же журналиста с восточным акцентом, видимо, не расслышавшего ответ об Афганистане:

– Какие у вас чувства об Афганистане сейчас?

– Я сказал, что я надеюсь, что будут приняты более решительные меры для прекращения этой трагедии.

– Какой у вас был разговор с Марчуком (тогдашним президентом Академии наук. – **О.М.**)?

– Разговор с Марчуком... Если уж так говорить, то это был развернутый вариант того же самого разговора, который был с Михаилом Сергеевичем.

Вопли:

– Сзади не давите! Не давите сзади! Держите немного сзади!

– А вы этого не ждали сейчас – освобождения?

– Сейчас я этого не ждал.

– Какой у вас план сегодня?

– Я еду домой, немного отдыхаю, потом я еду на семинар в Физический институт Академии наук, где я работаю.

Толпа несет Сахарова. Отчаянный вопль:

– Андрей Дмитриевич, постойте с нами! Десять минут!

Один из сопровождающих академика:

– Мы не можем больше.

Сахаров подтверждает:

– Я больше не могу.

– Вы понимаете, господа, или нет?! Дайте пройти! – сопровождающие пытаются пробиться сквозь толпу.

– Я уже сказал все, что я мог сказать с ходу.

Опять слышится мольба:

– Весь мир ждет ваши слова, а мы кадр не получили пока. Будьте добры, постоит пять минут! Вот здесь на месте, со всеми.

– Ну что ж, если все смогут это сделать... (толпа несет.  
– **О.М.**).

Решительные возгласы разных людей:

– Стоп!!! Остановиться! Шире круг! Чуть-чуть пошире встаньте все! Раз! Два! Три!

Остановились. Щелкают затворы фотоаппаратов.

Опять пререзается чей-то громкий голос:

– Андрей Дмитриевич, скажите, пожалуйста, какие у вас чувства сейчас?

– Чувство радости, чувство волнения и чувство того, что все еще в мире очень трагично. Трагична судьба моих друзей, находящихся в лагерях и тюрьмах. Я не могу ни на минуту освободиться от ужаса от мученической смерти, смерти в бою с несправедливостью моего друга Анатолия

Марченко. Я надеюсь, что после моего освобождения последует освобождение других...

По мере того, как задние протискиваются вперед, одни и те же вопросы задаются вновь и вновь. Сахаров терпеливо отвечает на них. Импровизированная пресс-конференция идет кругами, всякий раз начинаясь как бы заново.

– Вы можете нам сказать что-нибудь про Михаила Сергеевича, – как он вам позвонил?

– Он позвонил совершенно неожиданно. Он сказал, что принято решение... Что вы сможете вернуться в Москву, и может вернуться в Москву БоннЭр. Я сказал: это моя жена.

– А где ваша жена сегодня? Ее что-то не видно здесь.

– Она приехала вместе со мной и, я надеюсь, уже дошла до машины. Потому что стоять она не может, она больной человек.

Вот то, что Юра записал на диктофон. Историческая, конечно, запись, хотя сама по себе вокзальная «пресс-кон-

ференция», естественно, довольно сумбурная. Другой она и не могла быть.

### **Договариваемся с Сахаровым о встрече**

– Отец, ты у меня хлеб отбиваешь, – пошутил я, встретив Юру в редакции. – Я ведь уже два с лишним месяца этим занимаюсь...

Мы договорились, что дальше будем действовать вместе. Юра заедет к Сахаровым домой, чтобы вручить им снимки, сделанные на вокзале, напомнит о письме Гинзбурга, обо мне и договорится об интервью.

Он поехал к ним в субботу 27 декабря. Возле подъезда увидел три корреспондентские машины. Решил, что лучше заехать позже. Через час машин не было. Но нет, как выяснилось, и Сахарова. Дверь открыла Елена Георгиевна. Отвечивая за разговорами миллиметр за миллиметром прихожей, Юра протиснулся до холодильника и в конце концов договорился, что Сахаров примет нас 3 января в полдень:

оказалось, что все более ранние дни расписаны у него по минутам.

Однако мы решили не ждать третьего. Мы знали, что еще в день приезда, 23-го, Сахаров, как и собирался, побывал на отдельском семинаре в ФИАНе (он бывает по вторникам в три часа). На следующий день я позвонил Гинзбургу. Оказалось, что он на этом семинаре не был. Я просил, не может ли он посодействовать, чтобы мы поговорили с Сахаровым в институте (по некоторым соображениям это казалось мне предпочтительнее, чем беседа дома). Виталий Лазаревич переадресовал меня к Владимиру Яковлевичу Файнбергу, обещав, что он попросит его помочь мне. Файнберг сказал, что в положении Сахарова пока не все понятно, «есть противоречия», но он поговорит с ним во вторник, так что я могу позвонить ему, Файнбергу, во вторник вечером.

Но мы решили поехать прямо на семинар. Утром 30-го я позвонил в канцелярию института (телефон мне дал Гинзбург) и попросил заказать пропуска на сегодня. Выяснилось, что заказывать надо было накануне. Однако женщина

на том конце телефонного провода, узнав, что мы из «Лит-газеты» к Гинзбургу (так я сказал для маскировки), видимо, возжелала нам помочь. Спросила фамилии, с портфелями или без портфелей мы будем. Я сказал, что с портфелями. Она посоветовала сдать их в камеру хранения. Объяснил, что мой коллега непременно должен пройти в институт с сумкой – там будет фотоаппаратура. Позднее я узнал, что в институте вообще запрещено фотографировать, но женщина записала, что Рост пройдет «с портфелем».

Пропуска нам выписали на два часа дня (семинар, как уже говорилось, – в три), но мы опоздали, подрулили к проходной с улицы Вавилова, когда было минут двадцать третьего. В институт прошли нормально. Немного поплутали в поисках теоротдела – я знал, что он на первом этаже, где-то в левом крыле, но никогда там не был. Выяснилось, что пройти надо через второй этаж. Идя по коридору мимо кабинетов, на которых от руки написаны фамилии, я увидел фамилию Болотовского, о котором читатель уже знает. Зашли. Борис Михайлович тут же взялся проводить нас в

кабинет Сахарова. Последняя комната направо по длинному коридору с высоченным потолком. Сначалаходишь в общую комнату, где стоят несколько столов, справа от входа – дверь с фамилией «Сахаров». Под недоуменными взглядами обитателей большой комнаты заглянули в сахаровский кабинет. Небольшие размеры вкупе с высоким потолком и задернутыми шторами придавали ей вид колодца. Пусто, холодно, неуютно. В отсутствии академика здесь обретается какой-то аспирант. После выяснилось, что это молоденький парнишка, которого мы встретили в коридоре при входе в общую комнату (он предупредительно оставил кабинет в ожидании его хозяина).

Пошли пить чай к Борису Михайловичу. Он сварил нам чифирь в каком-то приспособлении – оказывается, покупном (а я думал – самодельное изобретение физиков).

Через некоторое время еще раз наведались к академику. Его по-прежнему не было и по-прежнему у входа в общую комнату робко дежурил мальчик-аспирант.

Решили, что академик уже не придет, хотя Борис Ми-



хайлович уверял нас, что семинар проводят сегодня единственно из-за Сахарова: руководитель семинара академик Евгений Львович Фейнберг собирался отменить его – дело предновогоднее, 30 декабря, – но Сахаров попросил его не делать этого: он соскучился по семинарам.

Объявился Фейнберг. Твердый, разумный человек. Нежнейше, с невероятным трепетом относящийся к Сахарову. Много сделавший, чтобы облегчить ему и Елене Георгиевне горьковскую ссылку (в частности, на нем лежала обязанность обеспечивать их лекарствами – дело в то время необыкновенно трудное). Между прочим, Евгений Львович сказал, что не хотел бы, чтоб Сахаров сейчас на полную катушку излагал свои взгляды: это может повредить «руководителю» (то бишь Горбачеву). Мы про себя усмехнулись: кто же ему даст на полную катушку?

Примерно без десяти три пошли в конференц-зал. Он располагается на третьем этаже. Только вошли в фойе перед залом, и сразу все вздрогнули: «Вот он!!!» Так, должно быть, вздрагивает Гамлет, когда сторожа показывают ему

внезапно появившийся призрак его отца. Сахаров сидел в кресле посреди пустого фойе, перед ним стояли три-четыре человека, с которыми он беседовал. Мы хотели было направиться прямо к нему, но Фейнберг предупредил это наше движение: «Нет, не надо». Он затолкал нас в зал, а сам направился к Сахарову.

Минут через пять он подошел к нам:

– Он готов ответить на ваши вопросы, но сегодня у него цейтнот. И он просил дать вопросы заранее.

Мы сказали, что они у нас готовы.

– Пойдемте я вас познакомлю.

Мы снова вышли в фойе. Сахаров уже встал и шел по направлению к залу. Мы познакомились.

– Я готов ответить на ваши вопросы, – сказал Сахаров, если вы дадите гарантии...

– Гарантии может дать только Госстрах, – пошутил я, сам удивившись этой своей вольности.

Юра дернул меня за рукав. Однако Сахаров никак осо-

бенно не прореагировал на мою фамильярность. Просто, но твердо сказал:

– Нет, это меня не устраивает. Вы должны мне обещать, что, если изменения в тексте окажутся неприемлемыми для меня, я буду иметь возможность отказаться от публикации.

Мы сказали, что обещаем.

Уточнили время встречи: Сахаров сказал, что он готов встретиться 3 января у себя дома, но не в двенадцать (Елена Георгиевна не знала некоторых обстоятельств), а в два.

– Сколько вам потребуется времени?

– Наверное, хватит часа, – легкомысленно ответил я.

– Хорошо, – сказал Сахаров, а Юра снова меня дернул.

– Может быть, мы разговоримся и несколько превысим этот регламент, – попытался поправить мою оплошность Юра.

Сахаров ничего не ответил.

Параллельно у Сахарова шел разговор с другими

людьми — физиками, толпившимися возле него. Он посетовал, что ему беспрестанно звонят (уже подключили дома телефон).

— Вы напрасно не выключаете его, Андрей Дмитриевич, — сказал кто-то.

— Не могу, — отвечал Сахаров серьезно. — Есть слишком веские основания, чтобы не выключать.

— Ну, извините, я должен идти на семинар, — стал он с нами прощаться несколько церемонно.

Я подарил ему страницу из «Литературной газеты» с моим очерком об Игоре Евгеньевиче Тамме, близком для него человеке, сыгравшем в его жизни огромную роль.

### **Сахаров дремлет на семинаре**

Пошли в конференц-зал. Станным образом он был почти пуст — человек сорок впереди возле сцены. Видимо, не всех успели оповестить о семинаре. Сахаров сел впереди, во втором ряду. Я примостился сзади с Болотовским и еще

одним сотрудником ФИАНа, мне не знакомым. Юра пошел фотографировать.

Первым выступал Давид Абрамович Киржниц, блестящий теоретик. Его доклад был довольно короткий – минут десять-пятнадцать. Следующий доклад занял часа полтора, причем почти все время проходил в темноте (слайды). К великому изумлению физиков, Юра снимал и при таком, совсем тусклом освещении. («Вы что, в инфракрасных лучах снимаете?») – после удивленно спрашивали они его).

Сидя на отшибе, мы с моими соседями говорили о том, о сем, – главным образом, об общеинтересных политических новостях. После Болотовский ушел, сказав, что ему еще нужно вписать формулы в статью.

Проходя мимо меня с фотоаппаратом, Юра бросил разочарованно:

– Спит академик.

Вскоре мой второй сосед тоже ушел. Я пересел поближе и с удивлением увидел, что Сахаров в самом деле «кемарит». Какое-то время он сидел, держа голову прямо. Однако

потом она медленно начинала склоняться набок и, склонившись до предела, какой-то срок оставалась в таком положении. Потом он вдруг встряхивался и с интересом уставлялся на докладчика. Через некоторое время все повторялось снова.

Потом физики нам объяснили, что это не свидетельствует о старости и дряхлости, как мы уже было подумали. Так бывало и прежде. Когда Андрей Дмитриевич слышит то, что ему знакомо, что он знает, он начинает дремать. Но стоит докладчику начать излагать что-то новое, Сахаров улавливает это чутким слухом, и бодрость возвращается к нему.

Все же я подумал, что пережитое в Горьком не лучшим образом повлияло на его здоровье, на его «физическую форму».

На третьего докладчика времени не осталось. По просьбе Фейнберга, он лишь коротко рассказал о содержании своего доклада, так сказать представил его аннотацию.

По окончании семинара Юра договорился с Сахаро-

вым сфотографировать его в кабинете, и мы снова отправились в теоротдел. Однако идти собственно в кабинет Сахаров отказался:

– Это не мой кабинет, я там не бываю.

Вот-те на! А теоротдельцы все семь лет берегли эту табличку, с гордостью показывали посетителям пустующий кабинет опального академика.

Андрей Дмитриевич сел за один из столов в общей комнате и стал звонить в диспетчерскую, чтобы за ним прислали машину. В это время Юра и фотографировал.

Я пошел в канцелярию отметить пропуски. Женщина с горящим взором (в этот вечер все в институте были как-то возбуждены), ставя печати, спрашивала меня:

– Вы действительно фотографировали?

Она не могла поверить, что такое возможно. Фотографировать Сахарова! Где? – В ФИАНе!

Я сказал, что фотографировал не я, а мой товарищ.

## **В поисках напольных весов**

– Ну, что с машиной для академика, все в порядке? – бодро спросил Владимир Яковлевич Файнберг, входя в комнату.

– Вы знаете, диспетчер говорит, что с автотранспортом трудно, – растерянно отвечал Сахаров.

Вот так – в институте, где Андрей Дмитриевич появился впервые за семь лет, нет для него машины. «Трудно с автотранспортом».

Мгновенно отреагировав, Юра ринулся вперед и предложил свои услуги (мы приехали на его «Жигулях»).

– Но мне по дороге надо заехать в одно место, – неуверенно отвечал академик.

– Заедем!

Попросил подвезти его и Аркадий Бенедиктович Мигдал, тоже академик, участвовавший в семинаре. Он живет на Ленинском проспекте, неподалеку от академической гостиницы.

Юра сказал, что он записал на магнитофон беседу Са-



харова с корреспондентами по возвращении из Горького, на вокзале (я ее уже цитировал). Присутствующие пожелали ее послушать. Юра включил.

« – Как вы расцениваете свое освобождение?

– Я удовлетворен. Меня защищали собратья-ученые. Защищали государственные деятели. Защищали просто друзья. Защищали мои дети. Наконец, защищала моя жена. Да, именно эта защита сделала возможным наше освобождение...

– Как вы себя чувствуете?..

– Я – ничего. Жена в плохом состоянии приехала. Ноги ее болят. Это, наверное, еще последствия контузии... Военной...»

Однако было видно, что Сахаров неловко себя чувствует во время этого прослушивания.

– Поедемте, – сказал он через некоторое время.

Мы отправились в гардероб.

Рост, Мигдал и я, как гости института, должны были выйти через проходную на улицу Вавилова, Сахаров – че-

рез другую, на Ленинский проспект. Мы обогнули институт по улице Губкина, подъехали к проходной, из темноты на свет нашей машины вышел неказистый человек в синей куртке и серой, наподобие солдатской, ушанке.

Выяснилось, что Сахарову надо заехать в магазин «Тысяча мелочей», купить напольные весы: после голодовок он вынужден следить, как набирается вес.

В машине разговор идет о том, о сем\*. Сахаров говорит, что недавно они с женой видели Мигдала по телевизору, была какая-то передача об экстрасенсах, о том, как физики к ним относятся.

– Вы знаете, сейчас появилась лаборатория очень серьезная, – говорит Мигдал, – которая изучает поля, окружающие человека. И они поняли многое такое, что было непонятно. Прежде мы думали, что это чистое жульничество – все эти карты Зенера и прочее...

– А я до сих пор так считаю, – рассеянно роняет Сахаров.

– Я до последнего времени тоже так считал, – продолжает Мигдал, – хотя мне представили протокол с убедительной статистикой, подписанный очень серьезными людьми. Но сейчас очень возможно, что все правы: обнаружилась очень высокая чувствительность к разнице температур у поверхности лба. Они с помощью тепловизора это доказывают.

---

\*Наши разговоры с А.Д.Сахаровым и Е.Г.Боннэр в этой книге даются строго по магнитофонной записи. –  
**О.М.**

Мигдал имел в виду лабораторию Эдуарда Эммануиловича Годика в Институте радиотехники и электроники. Лаборатория в самом деле была интересная, я о ней не раз писал.

– С помощью тепловизора – да, – говорю я, – но

ни на одном человеке это строго не доказано. Эта Роза Кулешова все-таки жульничала.

– Жулик абсолютный была, – подтверждает Сахаров.

– Она, наверное, и есть? Она еще жива?

– Нет, умерла, – говорю я.

Следует молчание.

– Вчера сообщили, что Тарковский умер, – с грустью произносит Сахаров.

В самом деле, печальная весть. Сегодня отец, Арсений Тарковский, снял у нас из номера «Литгазеты» свои стихи в связи с кончиной сына.

Останавливаемся возле «Тысячи мелочей» на Ленинском. Все четверо отправляемся по секциям искать напольные весы для академика. Забавно сознавать, что покупатели не подозревают, кого они толкают, продавщицы – кому они грубят. Ничто в облике Андрея Дмитриевича не выдает в нем какого-то особенного, выдающегося человека.

В двенадцатой секции сообщают, что вообще-то на-

польные весы бывают здесь, но сейчас их нет.

## **Еще раз о звонке Горбачева**

Едем дальше. Сахаров говорит, что ему надо домой к шести: отдохнуть часок, а в семь за ним заедут с телестудии – сегодня проводится второй телемост с США (первый был несколько дней назад): любой американский гражданин может задать вопрос советскому академику. А вот прочтут ли советские граждане его ответы на наши вопросы?

Разговор заходит о машинах. У Сахаровых – третья модель «Жигулей».

– Машина очень хорошая, – хвалит ее Андрей Дмитриевич. – Говорят, что она очень легкая в управлении по сравнению с другими машинами.

(Вот ведь было время! Никаких других машин, кроме «Жигулей», не знали. Даже академики).

– Вы сами водите? – спрашиваю.

– Да, и я, и жена – мы оба водим. Когда я голодовку

держал и меня десять месяцев держали в больнице, она только машиной и спасалась. Потому что ходить ей очень трудно, у нее ноги болят. И все ее существование держалось на машине.

– Где она сейчас? – Имею в виду – машина.

Со вздохом:

– В Горьком осталась. Мы еще поедем туда и, может быть, продадим там ее. А может быть, перегоним сюда.

– Наверное, уже есть смысл новую купить?

Это Юра, опытный автомобилист.

– Есть такое чувство привычки, – опять вздыхает Сахаров. – К старой машине.

– Да, особенно если она была верным другом, единственным в тяжелое время.

– Но этот друг все-таки много хлопот доставляет, когда ветшает, – не унимается Рост.

– Когда у нас была голодовка за нашу невестку (первая голодовка, в 1981 году. – **О.М.**), нашу машину украли,

– чтобы с ее помощью нас выманить. И в отместку за наши подвиги ее совершенно всю раскурочили. Горьковская ГБ.

– Тяжело там, наверное, было жить? – Юра делает отважный шаг в запретную область.

– Жить было трудно, – просто отвечает Сахаров. – Страшное для меня – полная изоляция. Вот за семь месяцев мы только с одним человеком общались...

– Телефона не было, конечно?

– Телефон поставили пятнадцатого числа (15 декабря. – **О.М.**). В половине одиннадцатого неожиданный звонок в дверь. Мы немножко даже испугались... Это пришли ставить телефон. А на другой день позвонил Михаил Сергеевич Горбачев по этому телефону.

– Долгий был разговор?

– Нет, не долгий.

– А тон – доброжелательный? Или информационный?

– Тон был информационный.

Далее следует уже известный читателю рассказ. Впрочем, отличающийся от приведенного ранее некоторыми де-

талями (потому, быть может, его и стоит здесь привести):

– Он сказал: «Мы получили ваше письмо (Имеется в виду письмо Сахарова Горбачеву от 22 октября 1986 года. – **О.М.**), посоветовались, и будет Указ Верховного Совета о том, что вы можете вернуться в Москву. Будет также Указ о БоннЭр». Я говорю: «Это моя жена». – «Квартира у вас в Москве есть, так что с этим проблем не будет. Я подошлю к вам Марчука. Можете возвращаться к патриотическим делам». Я сказал: «Большое спасибо, но у меня в тюрьме убит мой друг Марченко. Это первый в том списке, который я вам посылал». (Письмо от 19 февраля 1986 года. – **О.М.**) Он говорит: «Я получил это письмо в начале года. Мы рассмотрели эти дела, но там очень разные люди». Я говорю: «Это люди не разные. Это люди, пострадавшие за свои убеждения, и я считаю, что все они должны быть освобождены». Горбачев сказал: «Я не могу с вами согласиться». Я тогда говорю: «Я умоляю вас еще раз вернуться к этому вопросу, он имеет исключительное значение для авторитета нашей страны, для международного доверия, для дела мира,



а для вас — для успеха всех ваших начинаний». Это, собственно, был уже конец разговора. Дальше последовало прощание.

### **Почему он не захотел давать мне интервью**

Высадили Мигдала возле его дома (на протяжении всего разговора он, точно студент, заискивающе смотрел Сахарову в рот). Юра сказал, что можно заехать в хозяйственный магазин на Дорогомиловской: год назад он купил там напольные весы.

— Ты думаешь, они с тех пор там так и лежат? — пошутил я.

— Нет, там просто такой закуток неприметный, мало кто о нем знает.

Под колесами скользко. Снаружи морозно. Окна машины замерзли.

— Чего ты не включишь отопление? — спрашиваю.

Юра сжимает мне колено. Знак: кончай об этом! После объяснил: незаметно включил диктофон, чтобы записать разговор, шум отопителя будет мешать записи.

Да, но ехать по гололеду с замерзшими стеклами...

Особенно с таким пассажиром. Страшно подумать, если что случится.

– А вы когда написали письмо, Андрей Дмитриевич?

– интересуюсь я.

– 19 февраля было мое письмо о политзаключенных.

– Нет, я имею в виду – с просьбой о разрешении вернуться.

– 23 октября. (После я уточнил – 22 октября. – **О.М.**)

– Довольно быстро они отреагировали, – замечает

Рост. – Что-то там изменилось.

– Кстати, – говорю, – в октябре месяце мы обратились за разрешением сделать интервью с вами. И тоже быстро получили разрешение.

– Да, я думаю, это уже было симптомом каких-то изменений, – говорит Сахаров.

Я:

– Был такой замысел: если бы мы что-то напечатали,  
– это был бы прямой путь к вашей легализации.

– Нет, я не мог тогда согласиться... – поясняет Сахаров свой отказ.

– Это с одной стороны легализация, а с другой – узаконить свое положение, – поддакивает Юра.

– Да, тут обе стороны надо было иметь в виду, – соглашается Сахаров.

Он интересуется, кому принадлежала инициатива интервью. Мне неловко говорить о себе. На меня кивает Юра, я объясняю, кто и как реагировал на эту безумную идею. Впрочем, в ту пору она уже переставала быть безумной.

По какой-то замысловатой траектории разговор перекидывается на журналиста Яковлева, автора «отвратной» книжки «ЦРУ против СССР», одна из глав которой «разоблачает» Сахарова и Елену Георгиевну. Этот Яковлев имел наглость приехать в Горький и явиться к Сахарову на квартиру... чтобы взять интервью (пустили его без проблем, по-

сколько он был связан с КГБ). Говорили, что Андрей Дмитриевич его выставил, чуть ли не ударил или даже побил. Никто из знакомых Сахарова в это не верил. Не верится и нам.

– Неужто так-таки и побили? – смеюсь я.

– Это совершенно точно, – убеждает нас Сахаров. – Это абсолютно точно. Это не преувеличение.

– То есть как? Действительно? – опять переспрашивает Юра.

– Действительно. Других способов выразить свое отношение к этому человеку у меня не было.

Все же «побил» сказано слишком сильно. В «Воспоминаниях» Андрея Дмитриевича можно прочесть, как это было:

«...Я быстро обошел вокруг стола, он вскочил и успел, защищаясь, протянуть руку и пригнуться, закрыв щеку, и тем самым парировал первый удар, но я все же вторым ударом левой руки (чего он не ждал) достал пальцами до его пухлой щеки».

Когда подъезжали к хозяйственному магазину на Дорогомиловке, какой-то водитель на «Волге» у светофора, приспустив стекло, спросил, как проехать к «Березке» (так в советские времена именовались особые магазины, где, в отличие от обычных магазинов, «всё было», но – за валюту или за особые чеки-сертификаты). Я объяснил, как проехать.

– Вот видите, – сказал я Сахарову, – вы когда-то протестовали против этих «деревьев», а они по-прежнему произрастают как ни в чем не бывало.

Юра снова схватил меня за колено. Он это делал всякий раз, когда я говорил что-нибудь, по его мнению, непотребное. («Я же вижу, как он весь сжимается от этих слов», – после объяснял он мне).

Зашли в хозяйственный. Наконец-то! В самом деле, есть то, что нужно. Напольные весы. В том самом закутке. Молодец Рост! Исполнение всех желаний.

И снова то же чувство: никто не подозревает, что за человек стоит рядом у прилавка, в очереди к кассе, подает

чек продавщице. Но и сам Сахаров не чувствует себя каким-то особенным. Это совершенно ему не свойственно.

### **«ГБ сопровождала нас повсюду»**

С чувством исполненного долга везем академика домой на улицу Чкалова.

– Так вам там не позволялось вступать в контакты с местными физиками – с Гапоновым-Греховым, например? – продолжаю я расспрашивать нашего пассажира (Гапонов-Грехов – известный физик, тоже академик, в те времена директор горьковского Института прикладной физики).

– Гапонову-Грехову не позволялось, – поправляет меня Сахаров. Впрочем, в первую очередь, конечно, ни с кем не позволялось вступать в контакты мне.

– То есть практически вы были совершенно изолированы?

– Абсолютно. Там была полная изоляция. На первых порах с нами как-то общались соседи – мы жили на первом

этаже, – но у них были из-за этого большие неприятности. И они потом очень боялись. Так-то вообще они люди вполне приличные. Некоторые. А некоторые вели себя очень плохо... Или вот такая типичная сцена. На улице стоит мужчина с плачущим больным ребенком на руках. Моя жена останавливается, хочет его подвезти. Сопровождающие подбегают, силой вытаскивают мужчину с этим ребенком из машины.

– Какие сопровождающие?

– ГБ. Машина госбезопасности. Все время ездили за нами две машины. Одна впереди идет, другая – сзади. Где бы мы ни ехали. Но если машина ломалась, они нам никогда не помогали. Мы должны были сами выкручиваться. Даже иногда не позволяли остановить кого-нибудь, чтобы кто-нибудь помог.

– Значит, Елена Георгиевна должна была сама, допустим, демонтировать колесо?

– Ну, демонтировать она сама, конечно, не могла, но они сначала запрещали ей останавливать проезжающие ма-

шины. Тогда она говорила: «Ну, тогда я буду здесь ночевать». Им не хотелось вместе с ней ночевать на улице. «Хорошо, можете остановить машину».

– А с доставкой научной литературы как было?

– С этим у меня не было никаких проблем. У меня было очень много литературы. Приходила по почте. Присылали из ВИНТИ и из-за рубежа...

Разговор перекидывается на предстоящий телемост с Америкой.

– Я уже пережил это один раз.

– Тяжело, наверное? Там ведь жара от этих ламп...

– Не знаю, я не заметил. Я был в таком напряженном состоянии. В общем, в первый раз, как прыгать с парашютом, – не страшно. А второй раз уже представляешь, что это такое. Второй раз страшно. В первый раз я не боялся. А сегодня мне надо себя как-то немножко на это настроить. Вопросы я знаю заранее – они мне сказали, и, может быть, это плохо. В тот раз я не знал. И может быть, лучше, когда не знаешь. Они записывают эту передачу там, в США. И



корреспондент, который задает вопросы, находится там, и переводчик... А перед тобой только черная дыра – телекамера...

По поводу прыжка с парашютом... Так, насчет второго прыжка, скорее всего, мог сказать человек, который сам прыгал. Причем сказать несколько парадоксально. Обычно говорят по-другому: страшнее всего при первом прыжке. Я потом пытался разузнать, было ли это когда-либо у Сахарова, допустим, в студенческие годы. Но никто ничего не знал. В МГУ, где он учился, конечно, могли посылать студентов на такие подвиги. Готовя их «к труду и обороне», особенно к обороне. Но вряд ли здоровье Сахарова открыло бы ему путь в поднебесье. Впрочем, кто знает...

– Как вам Москва? – спрашиваю. – Чувствуете хотя бы какие-то изменения?

– По-моему, стали меньше чистить Москву.

– Это точно. Точное замечание.

– В Париже арабы, испанцы чистят улицы, – продолжает Сахаров, – а у нас лимитчики. Тоже как бы из другой

страны.

После паузы, без перехода:

– Этот закон о нетрудовых доходах... очень, по-моему... какой-то непродуманный.

Чутко улавливает малейшие дуновения и колебания воздуха. Общественной атмосферы.

– Он ведь, – говорю, – должен был идти в паре с законом об индивидуальной трудовой деятельности...

– Он плохо сделан, – продолжает свою мысль Сахаров. – На местах уже стали все запрещать... Запрещать гораздо легче оказалось. Причем запретили такое... Все на свете запретили в результате. И там произошли ужасные беды. Причем ударило как раз по малообеспеченным слоям населения.

– Вообще-то какие-то изменения происходят в обществе, но непонятно, насколько все серьезно, – философски замечает Рост после некоторого молчания.

– В основном – на уровне разговоров, – говорю я. –

Впрочем, для русского человека это немало.

Сахаров, встрепенувшись:

– Разговоры? Да, конечно, для русского это немало.

– Хотя бы душу отвести дают.

– Неизвестно, как долго это продлится, – раздумчиво говорит Юра.

– Вся беда, что все от одного человека зависит.

– Значит, система неточно продумана. Она должна работать при любом человеке.

Пока мы с Юрой перебрасываемся репликами, Сахаров молчит.

– Правда, сейчас зависит от двух – от Горбачева и от Рейгана, – говорю я.

– Этот все время возится со своей машиной, – наконец прерывает свое молчание Сахаров. – Я имею в виду – Рейган. Улучшает и перестраивает. Ускоряет ее на ходу.

Под «машиной», надо полагать, подразумевается американская администрация.

## Боль Сахарова – Чернобыль

По какому-то поводу заходит разговор о нелепо и трагически затонувшем теплоходе «Адмирал Нахимов». Юра полетел в Новороссийск сразу же после сообщения о катастрофе.

– В Новороссийск? – живо переспрашивает Сахаров.

– А в Чернобыле вы не были?

Чернобыль его ужасно волнует.

– В Чернобыле я не был. На третий день я пришел в редакцию и попросил, чтобы меня послали туда. У меня в Киеве родители живут. Это город, где я родился. Мне было важно... Там, неподалеку, живет замечательная народная художница, о которой я писал в «Литгазете», – Мария Примаченко. Она живет буквально в десяти километрах от тридцатикилометровой чернобыльской зоны. Я очень хотел туда поехать. Но оказалось, что разрешили только трем газетам – «Правде», «Известиям» и почему-то «Комсомольской правде». Больше никому. В первый период. А потом уже

было поздно...

Чернобыльскую тему Сахаров охотно поддерживает.

– К нам в Горький привезли детей, которые бегали к реактору посмотреть на пожар. Их как следует посыпало. И привезли их в той же одежде, в которой они были. То есть эта одежда продолжала их облучать. И ездили они по стране до 8 мая: нигде их не брали. Женщина, которая их взяла, позвонила куда-то в здравотдел и спрашивает, что ей делать. Ей отвечают: действуйте по инструкции. Она говорит: у меня нет никаких инструкций. И действовала по своему усмотрению...

– Вообще в острых случаях надо действовать не по инструкции, – подводит неожиданную мораль под рассказанное Андрей Дмитриевич. – У моей жены был случай. Она присутствовала при покушении на премьер-министра Ирака Касема. Она работала в Ираке по прививанию оспы. Она по специальности детский врач, и ее послали туда прививать оспу иракским мальчикам и девочкам. Она говорит, что те мальчишки, которых мы спасли, сейчас погибают на

войне с Ираном. Так вот, при ней ранили Касема. Она сразу побежала за машиной. Машина въехала в советское посольство. Она стала оказывать ему первую помощь. Кто-то позвонил в Москву: что делать? И был дан приказ: оказывать ему помощь, только если есть уверенность, что он выживет. Но к этому времени моя жена уже оказала ему первую помощь. Пока этот вопрос согласовывался.

– Так что в острых случаях надо действовать не по инструкции, – повторил свой вывод академик Сахаров.

Въезжаем на улицу Обуха. Андрей Дмитриевич объясняет, как ехать дальше.

– К моему дому – направо от Обуха.

И разъясняет происхождение своего жилья:

– Это квартира матери моей жены. Она получила ее при реабилитации. Своей и посмертной реабилитации мужа, отца моей жены (точнее, отчима. – **О.М.**) Отец секретарь Коминтерна был. Негласный секретарь, возглавлял работу с заграничными кадрами. Большую биографию имел.

Дальше разговор идет о разных знаменитых домах,

расположенных на улице Обуха, какие тут произошли изменения за время, пока Сахаров отсутствовал. Юра прекрасно знает Москву, даром что киевлянин. Сахаров живо интересуется переменами. Живой человек. Сам рассказывает о прошлом примечательных строений.

...Юра как автомобильный ас въехал на тротуар. Хотел было уже остановиться, чтобы высадить пассажира, но рядом заметил качающиеся силуэты — дело предновогоднее — и от греха подрулил прямо вплотную к подъезду.

— Ой-ой-ой, куда вы едете? Сюда не положено, — запричитал академик.

Забавно было слышать это от человека, который долгие годы шел наперекор тому, что «положено».

Я вышел и помог выйти Сахарову. Он тепло попрощался с нами. Поблагодарил. Вообще, я заметил, это его манера — тепло прощаться. После напряжения встреч, разговоров, еще каких-то действий — в данном случае магазинных поисков — при прощании наступает расслабление, и выплескивается доброта.

Забавная деталь: высадив академика, Юра забыл выключить диктофон и, едучи домой, еще полчаса записывал гул мотора, переключение передач, собственное чмоканье, а я, получив от него потом кассету, в поисках продолжения беседы полчаса слушал все это.

#### **IV. В «ДВУШКЕ» НА УЛИЦЕ ЧКАЛОВА...**

##### **Встреча после Нового года**

3 января был выходной. На встречу с Сахаровым я поехал с дачи, из Переделкина. Мороз 22 градуса. Машина, однако, завелась довольно легко. Завез сына в университет. Заехал домой. К дому Сахарова подъехал без пяти два. Машину оставил чуть поодаль. Юры не было. Стал немного волноваться. Вскоре, однако, приехал и он. Вошли в подъезд, поднялись на седьмой этаж. Лифт заблеваный. Как во многих советских домах. В прихожей я снял сапоги, надел тапки, Юра прошел так (Елена Георгиевна попросила: «Вы-



тирайте ноги»),

У Сахаровых двухкомнатная квартира, принадлежавшая, как уже сказал Андрей Дмитриевич, матери Елены Георгиевны. Бывший цековский дом [отчим Елены Георгиевны – Георгий Алиханов (точнее, Геворк Алиханян) был одним из руководителей Армении, стал им сразу же после установления там Советской власти, потом, как уже говорилось, работал в Коминтерне, расстрелян в 1937 году]. Хотя квартира, если считать комнаты, и небольшая, но просторная. Высокие потолки. Запущенная. Семь лет здесь никто не жил. На потолке потеки: соседи заливали. Повсюду, даже в коридоре, стеллажи с книгами, частично самодельные.

Елена Георгиевна не выходит на улицу: врачи не рекомендуют выходить при температуре ниже девяти градусов, возможны спазмы сосудов (не ясно, правда, почему именно ниже девяти).

Устроились за журнальным столиком в одной из комнат. Я стал искать розетку, куда бы включить диктофон (с батарейками тогда были проблемы, как и со всем осталь-

ным). Елена Георгиевна сказала, что она сама не знает, где работающие розетки, вообще у них в квартире пока ничего не работает, в том числе, извините, унитаза. Предложила выключить елку.

Юра тоже приготовил свой диктофон, он у него, в отличие от моего, на батарейках. Третий диктофон, контрольный, включила Елена Георгиевна.

– Ну что, начнем, – сказал Андрей Дмитриевич. И мы начали.

– Собственно говоря, беседовать, может быть, и излишне: я приготовил ответы на ваши вопросы. Вот из ваших вопросов фактически статья получилась в форме интервью. Это примерно так, как Михаил Сергеевич Горбачев отвечает на вопросы корреспондента «Правды». В данном случае вопросы задавали вы. На данном коротеньком историческом этапе я тоже оказался в таком же несколько выделенном положении. Поэтому мне очень важна и точность, и полнота всего того, что мной было сделано...

Андрей Дмитриевич передал нам пять страничек отве-

тов, отпечатанных на машинке с мелким шрифтом. Мы испугались, что беседа в самом деле может не состояться, и попросили его для начала прочитать перед диктофонами написанное, а потом мы ему зададим дополнительные вопросы. Он согласился.

Елена Георгиевна закурила. Увидев это, и Юра тут же обрадованно задымил. Так они и дымили весь разговор в две сигареты. Андрей Дмитриевич совсем не протестовал, хотя табачный дым, конечно, внес свой вклад в его усталость в конце разговора.

Выглядел он не очень хорошо, и можно было бы, конечно, не курить, но в семье Сахаровых, видимо, не принято было воздерживаться от задымления жилища. Вообще, в советские времена к этому относились более спокойно, чем сегодня. Табачный дым стоял едва ли не в каждой квартире, мало у кого вызывая протесты.

Написанный текст Сахаров прочитал очень вятно и даже «с выражением». Однако на дополнительные, устные, вопросы отвечал медленно, с трудом выдавливая из себя

слова. По мере разговора — а мы беседовали примерно два часа десять минут — речь его становилась все тяжелее и тяжелее, пока наконец Елена Георгиевна не сказала решительно: «Ты устал... Давай я расскажу. Тем более, что я все это хорошо знаю». Это случилось, когда Юра попросил Андрея Дмитриевича рассказать о себе: «Мы же о вас ничего не знаем».

Впрочем, все по порядку. В сущности, это было первое интервью, которое академик Сахаров дал «советским» журналистам, своим соотечественникам после возвращения из ссылки и, кажется, второе за все годы своего инакомыслия. Это документ. А с документами полагается обращаться бережно.

### ***Не вырубишь топором***

*Итак, сначала письменные вопросы и ответы, читаемые Андреем Дмитриевичем:*

**«Вопрос.** В октябре прошлого года, когда вы еще находи-

*лись в Горьком, один из нас предложил подготовить интервью с вами. Эта идея была поддержана всеми, от кого зависело поддержать или не поддержать ее. Просьба принять корреспондента для беседы была передана вам академиком В.Л.Гинзбургом. Однако вы отказались это сделать, сославшись на ваше положение. Сейчас это положение изменилось. Остаются ли у вас какие-либо сомнения относительно целесообразности вашего выступления в печати?*

*Ответ.* Я принимаю ваше предложение с учетом вашего обещания дать мне возможность отказаться от публикации, если в окончательном тексте будут недопустимые, с моей точки зрения, изменения. Моя общественно-публицистическая деятельность началась почти двадцать лет назад с попытки по предложению Э.Генри напечатать в «Литературной газете» статью в форме интервью. Статья долго рассматривалась Суловым, но не была разрешена к опубликованию. Из нее выросли «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе».

Когда читаешь сегодня сахаровские «Размышления» — это, почти один к одному, весь круг провозглашавшихся в то время, в конце 80-х, официальных идей, программа горбачевской перестройки. Не понять, что ж там такое было злокозненное и крамольное. Но это, конечно, — с сегодняшней точки зрения. В 1968-м, с точки зрения Суслова, все было крамольным. Брежневско-сусловский паровоз раскопегаривали совсем в другом направлении.

В основе «Размышлений» — две ключевые идеи. Первая — разобщенность человечества ведет к гибели. И вторая — человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода. Само по себе это, второе, что-то не очень ясное — интеллектуальная свобода, что-то вроде бы свободы для одних лишь интеллигентов, прежде всего для них, но Сахаров расшифровывает: это свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитетов и предрассудков. Короче, то, что при Горбачеве стало именоваться демократией и гласностью.

Кстати, Сахаров особо разъяснял: защита свободы мысли – «это задача не только интеллигенции, но и всех слоев общества, и в особенности наиболее активной и организованной его прослойки – рабочего класса... Осознание рабочим классом и интеллигенцией общности их интересов – примечательное явление современности. Можно сказать, что наиболее прогрессивная, интернациональная и самоотверженная часть интеллигенции по существу является частью рабочего класса, а передовая, образованная и интернациональная, наиболее далекая от мещанства часть рабочего класса является одновременно частью интеллигенции».

Это было написано в конце шестидесятых. Между тем, сегодня, как и во все прошлые десятилетия, продолжают попытки натравливать «простых людей» (уже не особенно выделяя рабочих) на интеллигенцию. Очень кому-то хочется, чтобы разные силы, которые могли бы сплотиться в противостоянии правящей коррумпированной бюрократии, обескровили друг друга.

Впрочем, особое выделение рабочего класса, к которо-

му прибегает Сахаров, – это, конечно, отзвук многодесятилетней коммунистической пропаганды, которая обрушивалась на головы советских людей, никто не мог уберечься от следования этому стереотипу.

*«Вопрос. Были ли вам поставлены какие-либо условия поведению в Москве?»*

*Ответ.* О своем освобождении я узнал из телефонного разговора с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Ни он, ни кто-либо еще не ставил мне каких-либо условий».

Это так, но, истины ради, надо сказать, что сам Сахаров в письме Горбачеву обещал, если будет освобожден, «не выступать по общественным вопросам, кроме исключительных случаев», о которых Толстой когда-то сказал: «Не могу молчать!» Повернется ли язык упрекнуть его за такое проявление «слабости»? Есть ведь предел перенесения боли – физической и моральной. Для Сахарова сама жизнь в Горьком была пыткой. Часто же, во время голодовок и при так называемом принудительном кормлении, – в буквальном смысле слова. Он долго, очень долго терпел, пока наконец



не почувствовал: подходит предел. Наконец, еще больше, чем его собственные страдания, обратиться к властям как бы с просьбой «о помиловании» его побуждали страдания Елены Георгиевны. Вот уж это для него было действительно невыносимо!

*При всем при том, обещая «не выступать по общественным вопросам», он прибег к очевидной хитрости – оставил для себя лазейку: кроме случаев «Не могу молчать!» Гэбэшные чины прекрасно эту лазейку видели, пытались получить у него четкое разъяснение, что же конкретно он понимает под такими исключительными случаями. Но он уходил от ответа. А вскоре, оказавшись в Москве, и вовсе забыл про свое обещание «не выступать». Благо времена изменились, и никто не напоминал ему об этом его обещании.*

*«Вопрос. Как вы себя чувствуете сейчас?»*

*Ответ. Я чувствую себя хорошо».*

Все же такой «курорт», как горьковская ссылка, не мог для Сахарова пройти без следа. Выглядит он явно стар-

ше своих шестидесяти пяти.

В своих «Воспоминаниях» он приводит слова, которые ему сказал главврач Горьковской областной клинической больницы Обухов, руководивший экзекуциями насильственного кормления во время голодовок: «Умереть мы вам не дадим, но инвалидом сделаем».

Забавно читать, кто такой этот Обухов. «Народный врач СССР, заслуженный врач РСФСР, неоднократно избирался депутатом областного Совета народных депутатов...» Имеет множество орденов... «Почетный гражданин Нижнего Новгорода». Кстати, это звание было присвоено ему в апреле 1995 года, то есть когда об истязаниях Сахарова под его руководством уже было хорошо известно.

**«Вопрос.** В энциклопедиях, в энциклопедическом словаре в статье, посвященной вам, есть такая стереотипная фраза: «В последние годы отошел от научной деятельности». Вы согласны с этой фразой?

*Ответ.* Если говорить о научной работе в фундаментальных областях, то как раз в последнее время я этим зани-

маюсь больше, чем когда, на протяжении двадцати лет, я занимался военно-прикладными вещами. То есть я не отошел, а наоборот, вернулся к работам в области фундаментальной науки».

– Какой срок вы имеете в виду, говоря «в последнее время»?

– Тот же самый, какой имеют в виду они, – с 1968 года. Это было время, когда я был отстранен от работы в военной области и целиком сосредоточил свое внимание на фундаментальных проблемах.

– И на общественных проблемах, – добавляет Сахаров после некоторой паузы.

Писавшие про Сахарова в энциклопедии, видно, были убеждены, что наукой можно заниматься, лишь регулярно ходя на службу, протирая штаны в своем институтском кабинете под недремлющим оком начальства. Если же этого не наблюдается, значит – «отошел от научной деятельности».

Впрочем, трудно сказать, каких осуждающих слов о

Сахарове требовали от редакторов энциклопедии. Может, то, что они ограничились этими, – как раз героизм.

*«Вопрос. Насколько интенсивно вы занимались наукой, находясь в Горьком? Сколько статей опубликовали?»*

*Ответ.* Во время пребывания в Горьком я опубликовал шесть статей. Я не мог заниматься наукой в те месяцы, когда проводил голодовки и был принудительно госпитализирован в больницу, превращенную для меня в тюрьму, и по нескольку месяцев после каждой из голодовок по состоянию здоровья».

– Шесть статей... А какова была ваша продуктивность до переезда в Горький?

– Шесть статей – это не такая большая продуктивность. Я вообще работаю очень трудно и медленно. За двадцать лет – с 1948 по 1968 год – мной было опубликовано примерно столько же научных работ. Может быть, чуть больше – около десяти. То есть за последние годы моя продуктивность даже увеличилась.

*«Вопрос. Полностью ли вы сейчас в курсе развития нау-*

*ки? Насколько этому способствовали ваши сотрудники из теоретического отдела ФИАНа, которые, насколько нам известно, регулярно навещали вас в Горьком?*

*Ответ.* Большой трудностью для меня являлось отсутствие постоянного личного общения с коллегами. Эпизодические визиты сотрудников Физического института были полезны, но не могли заменить такого общения.

*Вопрос.* *Считаете ли вы, что ваш потенциал ученого сохранился на прежнем уровне? Нет ли у вас ощущения, что вы отстали?*

*Ответ.* Ощущение, что я отстал, у меня всю жизнь, с пребыванием в Горьком это никак не связано».

Те же самые сотрудники Сахарова рассказывали мне о чудесах, нередко приключаящихся на семинарах, где он участвует: бывает, обсуждается предмет, вроде бы далекий от его интересов, но вот Сахаров задает докладчику два-три вопроса, и всем как Божий день становится ясно, что Сахаров — тот человек, который знает о предмете больше всех; с этой минуты все взоры устремлены именно к нему.

*«Вопрос.* Ваши коллеги считают вас великим ученым.

Согласны ли вы с такой оценкой?

*Ответ.* Великих ученых в каждом поколении немного, я к их числу не принадлежу».

Хоть Сахаров и отрицательно ответил на этот вопрос, мне показалось, что он ему не неприятен.

*«Вопрос.* Какие научные проблемы более всего занимают вас сейчас? Каковы вообще ваши планы?»

О научной работе Сахарова из широкой публики никто ничего не знает. Единственное, что известно, — что он работал над водородной бомбой. Некоторые считают его даже ее «отцом». Слышали также, что он занимался управляемым термоядерным синтезом.

*«Ответ.* Меня больше всего интересуют проблемы физики элементарных частиц и ранней космологии, примыкающие к идее Калуцы и Клейна о расширении геометрии наблюдаемого мира за счет дополнительных измерений пространства и к идее протяженных элементарных частиц, так называемых струн. С этим и связаны мои научные планы. Я

также собираюсь принять участие в обсуждении проблемы управляемой термоядерной реакции...»

Наш вопрос о планах Сахарова задан так, что не ясно, какие, собственно, планы – научные, не научные – имеются в виду. Поэтому Сахаров продолжает:

«...Я не считаю себя вправе оставаться в стороне от общественных проблем. Я вижу своим долгом содействовать освобождению узников совести в СССР и во всем мире – людей, подвергшихся репрессиям за убеждения и связанные с убеждениями ненасильственные действия. В своем телефонном разговоре с М.С.Горбачевым я напомнил об этой проблеме. Я сказал: «Я благодарю вас. Но несколько дней назад в тюрьме убит мой друг Анатолий Марченко. Он был первым в списке, который содержался в моем письме вам. Я умоляю вас вновь вернуться к поднятому в письме вопросу (речь шла об акте амнистии узникам совести. – А.С.). Это исключительно важно для авторитета нашей страны, для международного доверия, для мира, для вас, для успеха всех ваших начинаний...»

Читатель уже знает об этих словах Сахарова, но в те дни он не уставал вновь и вновь повторять их – потому и я не считаю неуместным приводить их в этой книге снова, вслед за Андреем Дмитриевичем.

«...Сейчас, несмотря на тенденцию к позитивным изменениям в советском обществе, положение находящихся в тюрьмах, лагерях, психиатрических больницах узников совести трагично, особенно самых мужественных и честных из них. Они подвергаются жесточайшему давлению. Повторные приговоры, многомесячные карцеры, лишение свиданий с близкими, избиения – все это с целью сломить, заставить поступиться убеждениями. В опасности Ходорович, Корягин, Шиханович, Гершуни, Костава, Григорянц, Алтунян, Ривкин, Смирнов, Огородников и многие еще, жертвы желания эмигрировать – еврей Бигун, русская семья Евсюковых и другие, люди разных национальностей».

Кстати, вот, собственно, и разъяснение, в каких случаях Андрей Дмитриевич «не сможет молчать».



Наибольшие сложности я предвижу с публикацией в «Литературной газете» именно этой части интервью, потому пытаюсь найти какие-то амортизирующие «прокладки», которые можно было бы вставить в уже написанный текст.

– Андрей Дмитриевич, – говорю я, – вас довольно часто упрекают, что вы чересчур резко критикуете нашу страну, закрывая глаза на то, что происходит в других странах... В самом деле, есть ведь много стран, где существуют узники совести. Есть там и уголовные статьи, которые «навешиваются» политическим противникам. В общем, такие вещи распространены в мире...

Сахаров охотно идет на компромисс, проявляет лояльность.

– Есть такая организация – «Международная амнистия», «Эмнисти интернэшнл». Она своей главной задачей ставит амнистию узников совести во всем мире. Стремясь при этом к полной политической беспристрастности. У нее есть списки узников совести не только в СССР, а главным образом в других странах. Большинство из них действитель-

но находится в других странах...

– В СССР, по ее данным, насчитывается лишь около семисот человек, – вставляет Елена Георгиевна. – И, собственно, Андрей Дмитриевич говорит именно об этом контингенте.

– Я не исключаю, что ее список не полон, – продолжает Сахаров. – Может быть, это не семьсот человек, а в два раза больше. Но по порядку величин эта оценка правильная. В некоторых странах «Эмнисти интернэшнл» называет бОльшие цифры, в некоторых – гораздо меньшие или полное отсутствие узников совести. Так что проблема действительно носит общемировой характер. Мы не можем освободить узников совести непосредственно в других странах, но если мы освободим своих узников совести, то это, несомненно, будет способствовать освобождению их и в других странах.

– Можно я тебе напомню? – снова вступает в разговор Елена Георгиевна. – Ты же послал обращение к «Эмнисти», на основе которого потом был послан призыв в

ООН. И там ты говорил не об амнистии узников совести в СССР, а об амнистии узников совести во всем мире. Так что это разговор не об СССР. Там и Чили, и ЮАР, и Индонезия...

– Да, я много выступал по конкретным случаям узников совести, – соглашается Андрей Дмитриевич. – В частности, было очень важное письмо об амнистии узников совести в Индонезии, где, как известно, после неудачной попытки переворота очень многие оказались в концентрационных лагерях в тяжелейших условиях. Часто их помещали туда просто по национальному признаку – как китайцев. Иногда по каким-то другим соображениям. В общем, там было колоссальное количество людей. И я писал об этом. И то, что там была проведена амнистия, – к сожалению, частичная, неполная, – в какой-то мере связано с моим обращением, которое было в русле усилий других людей, других влиятельных международных организаций.

– В советской прессе это все переиначивалось, – говорит Елена Георгиевна. – Было абсолютно переиначено

твое письмо Пиночету. Советская пресса представила его как приветствие Пиночету...

– Да, как будто я поддерживаю его. Это была фальсификация, конечно. Оно носило совсем другой характер.

– Это было письмо в защиту Пабло Неруды, – поясняет Елена Георгиевна. – Когда появились сведения, что он арестован, что он болен и погибает... В письме Андрея Дмитриевича была такая фраза: когда вы провозгласили эру... чего-то там...

– Эта фраза была так представлена, как будто в Чили при Пиночете не только провозглашена, но и осуществлена какая-то эра национальной консолидации... Что было совершенно не так. Появились статьи... Со всякого рода фальсификацией и искажениями я непрерывно сталкивался все эти годы. Так что я к этому уже привык. Но я надеюсь, что это в прошлом, что сегодня этого не будет.

– У Андрея Дмитриевича хороший характер, – смеется Елена Георгиевна, – он спокойно относится к этому.

По-моему, только раз в жизни взорвался, когда дал Яковлеву пощечину.

– Да, это было, – опять подтверждает Андрей Дмитриевич. – Было за что, как говорится.

В «Воспоминаниях» Андрей Дмитриевич так пишет о его письме в защиту чилийского поэта и коммуниста Пабло Неруды, находившегося после прихода к власти Пиночета под домашним арестом, смертельно больного (письмо было написано в соавторстве с Александром Галичем и Владимиром Максимовым):

« Письмо имело своей целью как-то смягчить трагическую обстановку в этой стране (Чили. – **О.М.**) и отражало наше искреннее уважение к Неруде и беспокойство за его судьбу. Письмо было составлено в обычных вежливых выражениях со ссылкой на «объявленную вами (т. е. новой администрацией Чили) эпоху возрождения и консолидации Чили». По контексту было ясно, что авторы письма приводили заверения новой администрации для формального подкрепления своей просьбы и в качестве формулы вежливо-

сти, не присоединяясь к этим заверениям по существу и не давая своей оценки положения в Чили и намерений администрации. Однако в советской и просоветской прессе приведенные слова письма недобросовестно цитировались вне контекста как якобы доказательство того, что я поддерживаю и восхваляю «кровавый режим Пиночета». Это нечестное обвинение широко использовалось в 1973 году и много потом, вплоть до самого последнего времени, – очевидно, по отсутствию аргументов для дискуссии со мной по существу. О Галиче и Максимове в советской прессе вообще не пишут; цель – опорочить меня».

Итак, Сахаров соглашается: «Большинство узников совести находится не в СССР, а в других странах...» Такими же знаками лояльности, компромисса изначально были насыщены сахаровские «Размышления». Эти знаки призывали к доброжелательству, к диалогу:

«...По существу, взгляды автора являются глубоко социалистическими, и он надеется, что внимательный читатель это поймет.

Автор очень хорошо понимает, какие уродливые явления в области человеческих и международных отношений рождает эгоистический принцип капитала... Автор конкретизирует внимание на том, что у него перед глазами...»

«...Доказана жизнеспособность социалистического пути, который принес народу огромные материальные, культурные и социальные достижения, как никакой другой строй возвеличил нравственное значение труда...»

«Суммируя содержание первых разделов, мы приходим к нашему основному выводу о нравственном, морально-этическом характере преимущества социалистического пути развития человеческого общества... Без социализма буржуазный практицизм и эгоистический принцип частной собственности рождал «людей бездны», описанных в известных очерках Д.Лондона, а ранее – Энгельсом... Только социализм поднял значение труда до вершин нравственного подвига. Без социализма национальный эгоизм рождал колониальное угнетение, национализм и расизм...»

Вскоре все узники совести, перечисленные Сахаровым

в нашем интервью с ним, были освобождены, правда, с не удовлетворившей его формулировкой – «помилованы».

Другим разрешили выехать.

Кстати, Сахаров всегда проявлял умеренность в подсчетах числа политзаключенных (отчасти об этом уже говорилось). В тот момент, когда мы работали над этим интервью и западные станции говорили о тысячах страдающих за убеждения в СССР, Сахаров, мы видели, называл несравненно меньшую цифру. Он не включал сюда угонщиков самолетов, других подобных людей. Узники совести, в его понятии, – лишь те, кто не прибегал к насилию.

Все же, опять-таки в предвидении трудностей с публикацией, мы ставим следующий вопрос еще более задиристо:

*«**Вопрос.** Чем все-таки объяснить, что свою страну вы критикуете с несравненно большей резкостью, чем страны Запада?»*

Это уже приводит академика в раздражение.

*«**Ответ.** Я нахожу ваш вопрос неправомерным. Свою критику нарушений прав человека в нашей стране я считаю*



конструктивной и основанной на фактах, которые мне непосредственно известны. За то, что происходит в нашей стране или происходило, я чувствую особенно острую личную ответственность. При этом я убежден в необходимости общечеловеческого, глобального подхода к проблемам мира, прогресса, прав человека».

## **Непьющие Сахаровы**

Переключаемся на другую тему.

*«Вопрос. Что вы можете сказать о проводимой сейчас в стране перестройке народного хозяйства и жизни в целом?»*

*Ответ.* Эпоха научно-технической революции требует демократизации общества. БОльшая гласность внушает надежду, я надеюсь на дальнейшее расширение ее. Но в целом положение неопределенно и противоречиво. Некоторые законодательные акты представляются мне недостаточно продуманными, в их числе указ о борьбе с нетрудовыми доходами. Другие акты являются, на мой взгляд, половинчатыми. Без-

оговорочно поддерживаю борьбу с пьянством».

Ответ насчет перестройки – центрального тогда понятия – кажется куцым. Но в ту пору, в самом начале восьмидесят седьмого, еще не было повода для больших размышлений, тем более у человека, только что вернувшегося из ссылочной изоляции.

Что касается борьбы с пьянством... В тот момент, как известно, развернулась широкая кампания «по преодолению пьянства и алкоголизма» (так это официально называлось).

– Вы считаете, что принятые меры разрешат проблему?

– Проблема может быть разрешена только многолетними усилиями. Должна, по-моему, смениться пара поколений. Одно или два поколения.

– Сами вы никогда не пили?

– Вообще я фактически непьющий человек, – говорит Сахаров несколько смущенно.

– Я вам скажу, сколько пьет Андрей Дмитриевич, уже точно, – приходит ему на подмогу Елена Георгиевна. –

Если в рюмку, маленькую, которая вся содержит тридцать граммов, налить вот столечко, на донышке, то это он поднимает вместе со всеми при каком-нибудь тосте и это он выпивает за целый большой вечер.

– А чем объясняется ваша неприязнь к алкоголю?

– Какой-то принципиальной неприязни нет... У меня нет принципов в этом вопросе. Я просто не люблю. Вот моя жена тоже такая, – кивает Андрей Дмитриевич на супругу.

– Я никогда не пила, – поддакивает Елена Георгиевна.

– Даже в армии не пила. Мне не вкусно.

– Очень правильная, по-моему, мысль, – говорю я, – что от питья должны воздержаться одно-два поколения.

Иначе ничего не получится. Это вопрос терпения.

– Да, чтобы это не была кампания, – подтверждает Андрей Дмитриевич, – а был действительно курс на это взят. Даже если Горбачева, не дай Бог, кто-нибудь сменит, – чтобы этот следующий начальник тоже придерживался того же курса...

Увы, терпения не хватило не только на одно-два поколения – на три года едва хватило.

Да, собственно, те меры, которые одобрял Сахаров, и не были рассчитаны на долгосрочную терпеливую работу – лишь на короткую кавалерийскую атаку. Теперь это видно. Как многие интеллигенты, не испытывающие никакой тяги к выпивке, Сахаров ошибался в оценке тех чересчур жестких мер. У широких масс эта самая тяга оказалась сильнее запретов.

*«Вопрос. Как вы относитесь к М.С. Горбачеву?»*

*Ответ. Я с большим вниманием и уважением отношусь к начинаниям М.С.Горбачева. Это не значит, что мне все нравится в его действиях и выступлениях, и тем более не значит, что я одобряю все происходящее в стране и в ее внешней политике. Однако выступления М.С. Горбачева содержат мысли, которые можно обсуждать, даже не будучи с ним согласным. Единственный мой личный контакт с М.С. Горбачевым – это звонок ко мне. Это было нетривиальное действие».*

Несмотря на эти строгие слова, Сахаровы, по моим наблюдениям, относятся к Горбачеву с симпатией, даже с любовью.

– Что-то он на Новый год выступал грустный, – говорит Андрей Дмитриевич.

– Да, у него даже щека дергалась, – подхватывает Елена Георгиевна.

– Верно, есть у него такая манера, – соглашается ее супруг.

*«Вопрос. Распространился слух о том, что вы передали в правительство некие идеи о перестройке. Так ли это?»*

*Ответ.* Нет, таких предложений я не выдвигал. Возможно, слух вызван моим письмом президенту АН СССР Г.И.Марчуку о проблеме безопасности ядерной энергетики. Я глубоко потрясен катастрофой в Чернобыле, ее масштабами, трагическими последствиями для многих тысяч людей на огромной территории нашей страны и за ее пределами. Последствия эти были усугублены недостаточной и поздней информацией населения о необходимых мерах предосторожно-

сти, запоздалой эвакуацией, то есть в конечном счете недостатком гласности. Тем не менее, я по-прежнему убежден в необходимости для человечества ядерной энергетики. Должны быть найдены решения, полностью исключаяющие возможность катастроф, подобных чернобыльской. Мы не имеем права экономить за счет безопасности ядерной энергетики. Подробнее о мыслях, содержащихся в письме, я не буду сейчас говорить».

– Кстати, насчет Академии наук... Как, на ваш взгляд, в условиях перестройки справляется со своими задачами наша наука, в частности Академия наук?

Я ожидаю, что этот разговор его заинтересует и мы услышим какие-то слова насчет «штаба науки», чье застойное нутро особенно отчетливо становится видно во времена оттепели (в сами застойные времена она как раз проявляет неплохие качества – кое-какую независимость, например). Но Сахаров уходит от этого разговора:

– Я был лишен возможности посещать собрания Академии семь лет и ничего не могу сказать об ее участии в

процессе перестройки.

### **Глас вопиющего...**

Сахаров отрицает, что он передал в правительство какие-то предложения. Но, в сущности, он мог бы сослаться на один документ, подготовленный им. Правда, подготовленный давно.

5 марта 1971 года Сахаров послал Брежневу «Памятную записку». Когда ее читаешь – опять-таки впечатление, что написано оно уже в перестроечное время. Сахаров предлагает ряд мер, нацеленных на улучшение положения в стране. Часть этих мер к моменту нашей беседы уже осуществлена, о другой части повсюду идут разговоры.

Вот, например, что предлагал Сахаров тогда, за шестнадцать лет до горбачевской перестройки, в области экономики, управления:

**«1. Углубление экономической реформы... увеличение**

хозяйственной самостоятельности всех производственных единиц, пересмотр ряда ограничительных положений в отношении подбора кадров, зарплаты и поощрения, системы материального снабжения и фондов, планирования, кооперирования, выбора профиля продукции, финансирования.

2. В области кадров и управления. Принять решения по расширению гласности (вот оно и слово «гласность» когда уже появилось! – **О.М.**) в работе государственных учреждений всех ступеней... В особенности существенен пересмотр традиции «кабинетности» в вопросах кадровой политики, расширение гласного общественного делового контроля над подбором кадров, выборности и фактической сменяемости при непригодности руководителей всех уровней. Я подразумеваю также обычное требование демократических программ о ликвидации системы выборов без избыточного числа кандидатов, то есть о ликвидации «выбора без выборов». Одновременно необходимы улучшение информированности, самостоятельность, право на эксперимент, перенос центра ответственности в сторону руководимого предприятия и его



служащих... Ликвидация специальных привилегий, связанных со служебным и партийным положением как очень вредных в социальном и деловом смысле. Публикация величины должностных окладов... Ликвидация номенклатурных списков и тому подобных пережитков предыдущей эпохи...

3. Мероприятия, способствующие расширению сельскохозяйственного производства на приусадебных участках колхозников, рабочих совхозов и единоличников, — изменение налоговой политики, расширение земельных угодий, изменение системы снабжения этого сектора сельскохозяйственной современной и специально разработанной техникой, удобрениями и др... Расширение всех форм кооперативного хозяйствования на селе...

4. Расширение... частной инициативы в сфере обслуживания, в медицинском обслуживании, мелкой торговле, образовании и т.п.».

Это то, что потом, при Горбачеве, стало называться индивидуальной трудовой деятельностью и о чем тревожился Сахаров в связи с появлением закона о нетрудовых дохо-

дах.

«5. Рассмотреть вопрос о постепенной отмене паспортного режима как серьезного тормоза в развитии производительных сил страны и как нарушение прав граждан, в особенности сельских жителей».

«6. В области информационного обмена, культуры, науки и свободы убеждений:

а) Поощрять свободу убеждений, дух изучения, делового беспокойства.

б) Прекратить глушение иностранных радиопередач, расширить ввоз иностранной литературы, войти в международную систему охраны авторских прав...»

Одно из немногих сахаровских пожеланий, осуществленных еще при Брежнев. Но осуществленных, конечно, не из тех соображений, какие имел в виду Сахаров.

«...Облегчить международный туризм – для преодоления пагубной для нашего развития изоляции.

в) Принять решения, обеспечивающие фактическое отделение церкви от государства, фактическую (то есть обес-

печенную юридически, материально и административно) свободу совести и вероисповедания.

г) Пересмотреть те стороны взаимоотношений государственно-партийного аппарата и искусства, литературы, театра, органов образования и т.п., которые наносят ущерб развитию культуры в нашей стране, снижают смелость и разносторонность творческого поиска, приводят к казенщине, серости и ритуальности...»

То есть речь шла о ликвидации ждановщины, удушающих объятий чиновничьего «меценатства».

«...В общественных и гуманитарных науках, роль которых в современной жизни непрерывно возрастает (в философии, истории, социологии, юриспруденции и т.п.), – обеспечить ликвидацию застоя, расширение направлений творческого поиска, независимость от предвзятых точек зрения, использование всей гаммы зарубежного опыта».

Среди прочих сахаровских попаданий «в десятку» – предложения вынести на всенародное обсуждение проект закона о печати и средствах массовой информации, принять

решение о более свободной публикации статистических данных, отказаться от социалистического мессианства, представления о единственности и исключительных достоинствах своего пути и отрицания пути других, установить гласность судопроизводства...

Наконец – что уж совсем подобно мистике и прорицательству, – Сахаров подробно очерчивает контуры неизбежных будущих споров о самостоятельности республик:

«Наша страна провозгласила право наций на самоопределение вплоть до отделения. Реализация права на отделение в случае Финляндии была санкционирована правительством. Право на отделение союзных республик провозглашено Конституцией СССР. Имеется, однако, неясность в отношении гарантий права и процедуры, обеспечивающей подготовку, необходимое обсуждение и фактическую реализацию права. Фактически даже обсуждение подобных вопросов нередко преследуется. По моему мнению, юридическая разработка проблемы и принятие закона о гарантиях права на отделение имели бы важное

внутреннее и международное значение как подтверждение антиимпериалистического и антишовинистического характера нашей политики.

По всей видимости, тенденции к выходу какой-либо республики из СССР не носят массового характера, и они, несомненно, еще более ослабнут со временем в результате дальнейшей демократизации СССР. С другой стороны, не подлежит сомнению, что республика, вышедшая по тем или иным причинам из СССР мирным конституционным путем, полностью сохранит свои связи с социалистическим содружеством наций. Экономические интересы и обороноспособность социалистического лагеря в этом случае не пострадают... По этим причинам обсуждение поставленного вопроса не представляется мне опасным».

Дошла ли до Брежнева эта записка? Можно, конечно, представить, как он, шевеля губами, читал непонятные слова. Но – вряд ли. Возможно, ему лишь коротко доложили о ней, представив как сочинение крайне вредное и не заслуживающее внимания. Никакого ответа Сахаров, разумеется,

не получил.

Прождав более года и не дождавшись ответа, Сахаров напечатал записку на Западе вместе с послесловием. Послесловие написано более литературно. Это как бы эмоциональный комментарий к сухим тезисам записки.

«Я начал общественную деятельность, – пишет Сахаров, – около 10 – 12 лет назад, осознав преступный характер возможной термоядерной войны и воздушных испытаний термоядерного оружия. С тех пор я пересмотрел многое в своих взглядах, в особенности начиная с 1968 года (для меня лично начало этого года ознаменовалось работой над «Размышлениями о прогрессе», а конец, как и для всех, грохотом танков на улицах непокорившейся Праги).

Но основа моих взглядов все же осталась прежней.

Я по-прежнему не могу не ценить большие благотворные изменения (социальные, культурные, экономические), которые произошли в нашей стране за последние 50 лет, отдавая, однако, себе отчет в том, что аналогичные изменения имели место во многих странах и что они являются про-

явлением общемирового прогресса.

Я по-прежнему считаю, что преодоление трагических противоречий и опасностей нашей эпохи возможно только на пути сближения и встречной деформации капитализма и социалистического строя...

Сейчас мне в еще большей мере, чем раньше, кажется, что единственной истинной гарантией человеческих ценностей в хаосе неуправляемых изменений и трагических потрясений является свобода убеждений человека, его нравственная устремленность к добру.

Наше общество заражено апатией, лицемерием, мещанским эгоизмом, скрытой жестокостью. Большинство представителей его высшего слоя — партийно-государственного аппарата управления, высших преуспевающих слоев интеллигенции — цепко держатся за свои явные и тайные привилегии и глубоко безразличны к нарушениям прав человека, к интересам прогресса, к безопасности и будущему человечества. Другие, будучи в глубине души озабочены, не могут позволить себе никакого «свободомыслия» и обречены на му-

чительный разлад самих с собой. Размеры национального бедствия приобрело пьянство. Оно является одним из симптомов нравственной деградации общества, которое все больше погружается в состояние хронического алкогольного отравления...»

*«Космос давно уже милитаризован...»*

*Вернемся, однако, к нашему интервью.*

*«Вопрос. Что вы думаете о современном международном положении, о перспективах смягчения напряженности?»*

*Ответ.* Я думаю, что, несмотря на взаимные упреки, происходит постоянный, не всегда заметный, но очень важный поиск линий договоренности. Для смягчения напряженности и укрепления международного доверия и безопасности я считаю особенно важными большую открытость нашего общества и разрешение религиозных конфликтов. Под откры-



тостью общества, вслед за своими предшественниками – Бором, Эйнштейном, Расселом, Сцилардом и другими, – понимаю свободу убеждений и информации, свободу эмиграции и поездок (не только в узком смысле воссоединения семей, а так, как это предусмотрено декларацией и пактами о правах ООН), свободу совести, свободу ассоциаций и другие гражданские права, права граждан контролировать внутреннюю и внешнюю политику правительства...»

Эк, куда махнул! Когда писались эти сахаровские строки, такое казалось дерзкой утопией. А во время нашей беседы, на втором году перестройки... Пока тоже не воплотилось в дело, но слух давно не режет. При выборах народных депутатов кандидаты, состязаясь друг с другом, витийствуют о вещах похлеще.

«...Из региональных проблем очень остра трагедия Афганистана (подчеркиваю, не «вокруг Афганистана», а именно Афганистана). Миллионы беженцев были вынуждены за пределами страны искать спасения от ужасов бомбардировок, напалма и расстрелов с вертолетов. В 1980 году я написал

открытое письмо главам государств – постоянных членов Совета Безопасности. Основой решения проблемы, как я считаю, должен быть немедленный вывод из Афганистана советских войск».

Сейчас, когда последний наш солдат давно покинул Афганистан, глаз равнодушно скользит по этим строчкам: ну, что в них такого? А тогда, в момент нашей беседы, слух вибрировал от этих непривычных слов. Думали так, конечно, многие, но вслух, во всеуслышание, не произносил никто.

И опять ради «проходимости» надо как-то амортизировать этот ответ.

Впрочем, не только ради «проходимости». С выводом войск в самом деле тогда не все казалось ясно. Войти легко, а вот выйти...

*«Вопрос. Разве простой вывод войск приведет к прекращению войны? Неужели не ясно: он приведет лишь к раздуванию костра, к всеобщей резне?»*

*Ответ. Я буду рад перемирию и политическим перего-*

ворам, предложенным правительством Афганистана. Однако я убежден, что основой решения проблемы является вывод советских войск. СССР должен представить право убежища всем гражданам Афганистана, опасаящимся за свою безопасность. Для предотвращения кровопролития в переходный период, возможно, также целесообразно использование сил ООН».

В дальнейшем такое предложение мы услышали вполне официально, с трибуны ООН. А неофициально – вон оно еще когда было высказано...

Не так уж много всякий государственный деятель совершает великих поступков. Что бы о Хрущеве ни говорили, за ним всегда останется великое деяние – разоблачение сталинского гнусного культа. Точно так же, что бы ни говорить о Горбачеве, вывод войск из Афганистана всегда сохранится на его счету как одна из величайших заслуг перед нашим народом.

*«Вопрос. Как вы оцениваете Рейкьявик и ту роль, которую сыграла там приверженность Рейгана Стратегической*

*оборонной инициативе?»*

Вопрос в духе той пропагандистской кампании, которую в ту пору вела наша печать и смысл которой сводился к тому, что будто бы Рейган провалил переговоры, которые почти завершились успехом.

*«Ответ.* Мое отношение к космической противоракетной обороне не совпадает ни с мнением администрации Рейгана, ни с официальной советской линией. Можно сделать рентгеновский лазер, пучковое оружие, зеркала в космосе, электромагнитные пушки, глобальную компьютерную систему наблюдения и управления огнем и многое другое. Но сильный противник найдет всегда способы преодоления любой обороны, и это он сможет сделать гораздо дешевле. Поэтому я считаю, что космическая противоракетная оборона неэффективна с военно-стратегической точки зрения. В этом я согласен с критиками программы СОИ. В то же время я решительно не согласен с выдвигаемым советской стороной принципом «пакета», согласно которому без соглашения по СОИ невозможно решение других

проблем разоружения, в том числе ликвидация стратегического наступательного ракетно-термоядерного оружия. Такая позиция представляется мне не конструктивной, не реалистической и не обоснованной. В обстановке взаимного недоверия ни одна из сторон не может полностью отказаться от направления исследований, которое, пусть и не наверняка, может оказаться когда-то важным. Требовать такого отказа – нереалистично. Упускать возможность соглашений о разоружении сегодня ради опасений, связанных с созданием СОИ в XXI веке, – не конструктивно. Если к тому времени будет ликвидировано наступательное термоядерное оружие, то система СОИ вообще становится беспредметной. Опасения, что под прикрытием «щита» космической обороны может быть нанесен первый термоядерный удар, становятся необоснованными. Но эти опасения не обоснованы *и* при наличии межконтинентальных ракет – в силу недостаточной эффективности СОИ и в силу того, что система космической обороны может быть развернута очень нескоро.

При обосновании принципа «пакета» иногда выдвигается аргумент, что на основе исследований по космической обороне может быть создано оружие «космос – земля». Пока ничего не известно о конкретных разработках в этой области. Во всяком случае, этот вопрос вполне отдельный от космической обороны.

Я убежден, что следует отказаться от принципа «пакета», договориться по всем тем вопросам, по которым СССР и США были близки к соглашению в Рейкьявике, а затем в спокойной обстановке, без спешки и давления, договориться о компромиссном решении проблемы СОИ.

К слову, пропагандистский ярлык «милитаризация космоса» базируется на игнорировании того очевидного факта, что космос давно милитаризирован – его уже бороздят сотни спутников военного назначения, через него в страшном случае войны полетят стоящие на старте межконтинентальные баллистические ракеты».

В ту пору СОИ – Стратегическая оборонная инициатива – была у всех на устах. СОИ, СОИ, СОИ... Эти три буквы

находились в центре «холодно-военного» противостояния СССР и Запада. Без них не обходился ни один номер газеты, ни одна телевизионная или радиопередача на политические темы.

Затеяли это американцы. Кто-то из специалистов подал идею – создать в «ближнем», околоземном космосе своего рода «колпак», непроницаемый для советских ядерных ракет. За эту полуфантастическую идею с восторгом ухватился Рейган. Трудно сказать, что им двигало больше – желание действительно обрести защиту от посягательств непредсказуемого противника или стремление втянуть его в новый виток гонки вооружений, причем такой, который стал бы для него совершенно неподъемным и разорительным. Возможно, и то, и другое.

Так или иначе, колесо закрутилось. Придумывались разнообразные варианты СОИ, проводились эксперименты, в том числе безумно дорогостоящие. Газеты писали о об испытаниях различных видов противоракет, о боевых лазерах и зеркалах, размещаемых в космосе и перенаправляющих ла-

зерный луч на цель, об «атомной картечи» – миллионах мелких металлических дробинок – рассеиваемых на пути вражеских ракет и ложных целей... В общем, только и разговоров было, что о близких уже «звездных войнах» («звездная война» стала литературно-романтическим синонимом Стратегической оборонной инициативы).

Больше всего на воображение действовала идея разработки рентгеновского лазера с ядерной накачкой. Мощный луч такого лазера, точно направляемый на ядерную боеголовку противника, был способен в мгновение ока превратить ее в пыль. Американские физики и инженеры, работавшие над созданием таких лазеров, с помощью прессы по популярности быстро достигли уровня кинозвезд.

Советские вожди были не на шутку перепуганы разговорами о СОИ. Было ясно, что за американцами тут не угнаться: не хватит ни денег, ни научно-технического потенциала. Рейгановской СОИ были противопоставлен некий «асимметричный» ответ, будто бы придуманный советскими учеными. Дескать, у нас есть гораздо более простой и деше-



вый способ достичь тех же целей, какие поставили перед собой американцы – и преодолеть их противоракетную оборону, и защитить себя от их ядерных ракет. Что это за способ, да и был ли он в действительности, никто, естественно, не знал, но для целей пропаганды этот способ, за неимением других, вполне годился.

Одновременно на переговорах по разоружению был выдвинут этот самый принцип «пакета»: мы пойдем на сокращение и даже полную ликвидацию ядерного оружия, только если вместе с этим Штаты свернут полномасштабную работу над СОИ, ограничатся, если уж им так хочется, какими-то лабораторными исследованиями. Этого, в частности, требовал от Рейгана Горбачев на той самой встрече в Рейкьявике 11-12 октября 1986 года. Рейган, понятное дело, не хотел отказываться от своей любимой игрушки.

Сахаров понимал, что требование «разъятия» «пакета» неразумно. СОИ – это дело долгое, если вообще реализуемое. Если связывать отказ от него с проблемой разоружения, решение этой проблемы просто-напросто окажется в тупике.

Так или иначе, «пакет» в конце концов был «разъят», переговоры по ядерному разоружению были продолжены, а СОИ тихо, сама по себе, сошла на нет: трудности в ее реализации оказались более велики, чем казалось вначале, да и «холодная война» прекратилась, не было уже такой нужды в противостоянии «Советам». (Разумеется, работа по развитию ПРО никогда не прекращалась, но над этим уже не было романтического ореола «звездных войн»).

Я не знаю, вняли ли наши руководители советам Сахарова, приняв решение об уходе из Афганистана, а также о «разъятии» рейкьявикского «пакета», или сами, «своим умом», пришли к тем же выводам, что и Сахаров, однако эти два великих действия в горбачевской политике – прекрасное доказательство провидческой правоты ученого.

***Подземные испытания не очень-то его и интересуют***

***«Вопрос. Какое место среди других проблем занимает,***

*на ваш взгляд, проблема запрещения подземных ядерных испытаний?»*

Как помнит читатель, именно с этого все начиналось, именно это должно было стать центром нашего интервью, так как проблема подземных ядерных испытаний была в ту пору в центре внимания нашей пропаганды. Неожиданно, однако, выясняется, что у академика нет к этому интереса.

*«Ответ. Эта проблема кажется мне второстепенной, вторичной по отношению к другим проблемам ядерного разрушения. Новые системы ядерного оружия можно создавать и старые проверять и без ядерных взрывов. Что было действительно важно, так это запрещение ядерных испытаний в атмосфере, в воде и космосе, наносивших огромный ущерб среде обитания. Я горжусь тем, что был одним из инициаторов договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах».*

– Почему все-таки, как вы считаете, – спрашиваю я Сахарова, – американцы так упорно не желают прекратить подземные испытания – только из-за работы над лазерами

с ядерной накачкой? Или они вообще ставят цель совершенствования ядерного оружия?

– Я думаю, – говорит академик, – что они могли бы обойтись и без ядерных испытаний во всех вопросах, кроме вопроса о лазерах с ядерной накачкой. И даже в этом случае, потому что отдельные элементы этого рентгеновского лазера могут быть промоделированы без ядерного взрыва – уже имеются об этом сообщения. Так что обойтись они могут. Но в данной ситуации они просто не видят в этом необходимости.

– И тем не менее, – настаиваю я, – даже если это второстепенный вопрос с точки зрения разоружения, людям, наверное, спокойней спалось бы, если б не было ядерных испытаний.

– Подземных? – уточняет Андрей Дмитриевич.

– Любых.

– Может быть, это было бы ложное спокойствие.

Если бы и без ядерных испытаний делалось что-то очень существенное. Наверное, надо рассматривать прекращение

подземных ядерных испытаний как шаг на последнем этапе, после запрещения ядерного оружия. В общем, этот вопрос такой – как получится. И как будет вести себя дипломатия в этой области. Я думаю, что от прекращения подземных ядерных испытаний качественно ничего не изменится.

Позднее, в готовый текст интервью, он вписал дополнение к своему ответу:

*«В условиях, когда нет соглашения о запрещении ядерного оружия, подземные ядерные испытания, не наносящие экологического ущерба другим странам, являются внутренним делом каждого государства».*

В дальнейшем, однако, Андрей Дмитриевич изменил свой взгляд на подземные испытания: стало ясно, что ни о какой экологической их чистоте говорить не приходится. Возникло мощное народное движение «Невада – Семипалатинск», требовавшее закрыть казахстанский полигон. Со своей стороны, депутаты от северных районов подняли голос против перенесения взрывов на Новую Землю.

Руководитель советской программы по созданию и усовершенствованию ядерного оружия академик Юлий Борисович Харитон рассказывал мне в декабре 1989 года (точнее сказать, 19 декабря), что за две недели до своей кончины (Сахаров умер 14 декабря), во время их последней встречи, Андрей Дмитриевич уже настаивал на бессрочном нашем ядерном моратории (включая и мораторий на подземные ядерные испытания), к которому со временем, как он считал, неизбежно примкнули бы американцы.

Он никогда не упорствовал в своей точке зрения, если убеждался, что она неверна.

### **Будет ли время для раскаяния?**

Наконец, в нашем интервью очередь доходит до участия Сахарова в создании бомбы. Тут живет легенда. Согласно ей, Сахаров – «отец» нашей водородной бомбы, советский Эдвард Теллер.

– Вы принимали участие в создании термоядерной

бомбы самого страшного оружия, какое существует на сегодняшний день, – играли в этом одну из ведущих ролей. Не жалеете ли вы об этом? Не раскаиваетесь ли?

– Я бы так сказал: моя оценка того, раскаиваюсь ли я или не раскаиваюсь в своем участии в работах по созданию советского термоядерного оружия, – она должна быть сформулирована, вынесена постфактум. Мне не хочется давать эту оценку сейчас. Посмотрим, что дальше будет. Сорок лет войны нет. Но если это величайшее несчастье произойдет, тогда уже надо будет смотреть...

– Тогда некогда будет смотреть, – непочтительно вставляет Юра.

– Тогда некогда будет смотреть, – покорно соглашается академик, – но теоретически предположим, что, сидя в каком-то бункере, и мы, и они будем обдумывать, совершили ли мы чудовищное преступление...

Видимо, Сахаров постоянно возвращается к этому вопросу – о раскаянии, – и придает ему важное значение. В подготовленном тексте интервью он этот свой ответ сфор-

мулировал так:

*«Ответ. В то время, когда я занимался этими вещами, все мы были убеждены, что наша работа необходима для создания мирового равновесия. И вот сорок лет войны нет. Но я каждую минуту своей жизни понимаю, что если все же произойдет это величайшее всеобщее несчастье – термоядерная война – и если я еще буду иметь время о чем-то подумать, то моя оценка моей личной роли может трагически измениться».*

– Вам интересно было работать?

– Работали мы с увлечением. Работали с увлечением и с ощущением, что это необходимо. Грандиозность этой работы и трудность ее тоже усиливали впечатление, что мы делаем героическую работу. Это создавало определенный эмоциональный настрой.

– Было все-таки ощущение, – спрашиваю я, – что это решаемая проблема? По-видимому, сейчас в работе над проблемой управляемого термоядерного синтеза такой уверенности нет?



Сахаров со мной не соглашается:

– Нет, я считаю, что проблема управляемой термоядерной реакции тоже принадлежит к числу решаемых проблем. В этом никто не сомневается.

– Но ведь есть разные пути...

– Похоже, что имеется несколько путей. Какой из них подходит для того или иного применения, – это другой вопрос. Магнитная термоядерная изоляция, то есть «Токамак», по моему мнению, – это для энергетики. Лазерное обжатие, инерциальные способы... Когда мы их придумывали, мы считали, что это путь для будущих космических межзвездных кораблей. Но сейчас это рассматривается как альтернативный путь для земной ядерной энергетики, вместо «Токамака». Что получится, мы не знаем. Сейчас вообще очень странная ситуация. Тот путь, который казался вообще совершенно непригодным, – мю-мезонный катализ, – тоже вроде бы оказывается возможным. Мю-мезонный катализ – это была моя работа-предложение, уже после защиты диссертации. На основании научной

идеи, принадлежащей Франку, английскому ученому, я выдвинул мю-мезонный катализ как способ осуществления термоядерной реакции. И вот сейчас это тоже вроде бы начинает выходить на практическую стезю. Но все-таки наиболее практичной мне представляется магнитная термоядерная изоляция – то, что было предложено Игорем Евгеньевичем Таммом и мной в 1950 году. На этом основании возникла программа «Токамак».

Это еще один пример точного провидчества Сахарова. Сейчас, по прошествии почти трех десятков лет после той нашей беседы, в исследованиях по управляемому термоядерному синтезу по-прежнему лидируют «Токамаки». Но до финиша здесь все еще далеко. Создание первой коммерческой установки ожидается где-то в 2040-2050 годах.

### **Маршал одергивает академика**

Наш разговор с Сахаровым продолжается.

– Вы видели ядерные взрывы?

– Видел. Эмоционально это очень сильная вещь.

Очень сильная.

– Не в этот ли момент вы почувствовали ответственность перед людьми?

– Мне трудно сказать, – отвечает Сахаров. – Вероятно, я почувствовал ее и раньше. И она усиливалась потом на основании многого другого, что я узнавал...

– Но тут есть некая байка... – подсказывает Елена Георгиевна.

– Да, тут есть некая байка, – механически повторяет Андрей Дмитриевич. – В ваше интервью она, наверное, не войдет, но я могу рассказать.

– Да, расскажите, пожалуйста, – в один голос просим мы с Юрой.

– 22 ноября 1955 года было испытание термоядерного заряда, которое было неким поворотным пунктом во всей разработке термоядерного оружия в СССР, – Сахаров тщательно подбирает слова, чтобы неловким шагом не переступить незримую черту секретности, до сих пор огра-

ждающую те стародавние дела. За этим он строго следит. — Это был очень сильный взрыв, и при нем произошли несчастные случаи. Солдат погиб в траншее на расстоянии нескольких десятков километров от точки взрыва. Завалило траншею. Там погиб молодой солдат. И за пределами полигона погибла двухлетняя девочка. В этом населенном пункте, в деревне было сделано бомбоубежище. Все население было собрано в этом бомбоубежище, но когда произошел взрыв, вспышка осветила через открытую дверь это бомбоубежище, все выбежали на улицу, а эта девочка осталась переключивать кубики. И ее завалило, она погибла. Еще были несчастные случаи, уже не со смертельным исходом, но с тяжелыми травмами. Так что ощущение торжества по поводу большой технической победы было одновременно сопряжено с ужасом по поводу того, что погибли люди...

— Чувство ужаса было у вас? — уточняю я.

— Да, у меня. И я думаю, не только у меня.

— Но не у всех.

— У многих. Тем не менее, — продолжает Сахаров

свой рассказ, — был небольшой банкет в коттедже, где жил руководитель испытаний маршал Неделин, главнокомандующий ракетными войсками СССР. И на этот банкет были приглашены руководители разработки этого термоядерного заряда. И вообще ведущие ученые, некоторые генералы, адмиралы, военные летчики и т.д. В общем, такой банкет для избранных по поводу победы. Неделин предложил первый тост произнести мне. Я сказал, что я предлагаю выпить за то, чтобы наши изделия так же удачно взрывались над полигонами и никогда не взрывались над городами. Видимо, я сказал что-то не совсем подходящее, с точки зрения Неделина. Он усмехнулся и произнес ответный тост в виде притчи. Притча была такая, не совсем приличная. Старуха лежит на печи. Старик молится. Она его ждет. Старик молится: «Господи, укрепи и направь!» А старуха подает реплику с печи: «Молись только об укреплении — направить я как-нибудь и сама сумею». Вот такая притча, которая меня задела. Не своей формой, а своим содержанием. Содержание было несколько зловещим. Я ни-

чего не ответил, но был внутренне потрясен. В какой-то мере можно сказать, если вдаваться в литературу, что это был один из толчков, который сделал из меня диссидента.

Некоторое время мы все молчим.

– Ну, такие реплики в адрес ученых были и с другой стороны – с американской, – говорю я после паузы.

– Да, когда мы читаем воспоминания американских ученых, мы это видим, – охотно соглашается Сахаров.

– У нас есть двухтомник «Дело Oppenгеймера», – говорит Елена Георгиевна.

Я говорю, что, на мой взгляд, нравственные терзания Oppenгеймера, руководителя американского атомного проекта, так называемого проекта «Манхэттенский округ», несколько преувеличены, раздуты братьями-литераторами. Из него сделали современного Фауста. На самом деле он был скорее Вагнером, ученым, чьи интересы сфокусированы на одной науке, равнодушного к тому, что происходит за ее пределами. Во всяком случае, в период Хиросимы. Настоящее мужество проявили другие ученые – семеро

авторов «Доклада Франка», которые, будучи посвящены в планы атомной бомбардировки, умоляли американское правительство не бомбить японские города, а если уж необходимо, – взорвать бомбу где-нибудь на необитаемом острове, в присутствии наблюдателей от разных стран. Оппенгеймер был как раз на другой стороне. Оппенгеймер, Комптон, Лоуренс и Ферми.

– Тем не менее, и Оппенгеймер считал, что надо выбрать другой объект для бомбежки – не Хиросиму, – слабо возражает мне Сахаров.

– Было намечено семь городов, – продолжаю я, – и Хиросима, насколько я знаю, была выбрана просто по погодным условиям.

Сахаров:

– Не только по погодным. Хиросима была выбрана как город, никогда не подвергавшийся бомбежке, не имеющий противозенитной обороны...

– В общем – ради чистоты эксперимента, – говорю я

саркастически.

– Да, ради чистоты эксперимента, – подтверждает Сахаров.

Так, после небольшой пикировки мы приходим к согласию.

– Тем не менее, эти четверо, – все же добавляю я, – Оппенгеймер, Ферми, Комптон и Лоуренс – дали отрицательное экспертное заключение по поводу «Доклада Франка»: испытания на необитаемом острове не дадут реального впечатления о возможностях нового оружия... Устранили последнюю слабую преграду на пути к ужасающей катастрофе.

Снова молчим.

– Шла война, – раздумчиво говорит Сахаров. – Во время войны другая психология. Есть и такая точка зрения, что без этих ядерных взрывов война продолжалась бы еще полгода, и погибло бы несколько миллионов человек, причем в Японии возник бы голод, от которого погибло бы еще очень много людей. Так что, как решать вопрос во вре-



мя войны, в условиях военной психологии, — трудно судить со стороны.

— Ну, если так рассуждать, — говорю я, — можно, наверное, в конце концов, найти оправдание и маршалу Неделину.

Неожиданно выясняется, однако, что взгляд Сахарова на тот эпизод с Неделиным не совсем таков, как мы предполагали.

— А я не то что его упрекаю... — говорит он. — Я это рассказываю как констатацию факта. Каждый в таких случаях действует со своей колокольни. Эта история очень глубока на самом деле. Потому что речь идет не лично о маршале Неделине. Не о том, что он людоед, а я голубь. Речь о том, что эти проблемы действительно очень трагичны. И ответственность — всеобщая (вы правильно задали мне вопрос об ответственности). И ответственность эта не может быть переложена на тех, кто «направляет». Те, кто «направляет», делают это по закону своей профессии. Тут дело не в личных качествах, а дело в системе. И в том, что

в таких вопросах, как большая термоядерная война, есть всеобщая личная ответственность. Неделин этого не понимал. А я обязан это понимать. И не только я, а очень многие. Все обязаны.

Ну, так вот это непонимание, эта близорукость, это слепота – особенно когда дело касается таких страшных вещей, как ядерное оружие, возможная ядерная война, – разве они недостойны осуждения?

### **Сахаров о Курчатове**

– А что вы можете сказать о Курчатове?

Разговор наш идет несколько сумбурно, перепрыгивая с темы на тему. Нас, однако, это не беспокоит: потом у нас будет время все выстроить, как надо.

Мнение Сахарова о Курчатове нам интересно по многим причинам. Курчатов, как он всюду представлен, – некая противоположность Сахарову. Этаким никогда не сомневающийся носитель официальных идей. За это всегда

обласканный властью. Стопроцентно благополучный. Так и видишь кивки в его сторону: вот ведь можно же быть выдающимся и одновременно – послушным.

– Я много могу о нем сказать, – говорит Андрей Дмитриевич. – Потому что я с ним... Хотя общался немного, но общался в таких ситуациях, где проявляются нетривиальные свойства личности. Это был действительно человек совершенно незаурядный. Я могу рассказать один эпизод, который не вошел в его официальные биографии. Я был глубоко озабочен проблемой биологических последствий ядерных испытаний. Каждое большое ядерное испытание – это нечто вроде Чернобыля. Не подземное, конечно. Тогда, в пятидесятые годы, подземные ядерные испытания не проводились. Главным образом, потому, что сложнее и дороже. Не потому, что они не могут дать тех же самых результатов. Весной 1958 года Хрущев объявил односторонний мораторий на проведение ядерных испытаний. Это было в его речи при вступлении на пост Председателя Совета Министров. По-моему, это был март 1958 года (31

марта 1958 года. – **О.М.**) После этого СССР не проводил ядерных испытаний. А США заявили, что они не могут оборвать свою серию ядерных испытаний, они будут еще некоторое время их проводить, а затем примкнут к нашему мораторию. Но Хрущев к осени передумал и решил возобновить испытания. Я считал это совершенно неправильным. Меня беспокоило то, что продолжение ядерных испытаний в атмосфере приводит к большим человеческим жертвам, и если не будут прекращены испытания, то число этих жертв будет действительно чрезвычайно большим (имеются в виду разнообразные заболевания, прежде всего онкологические. – **О.М.**) И, кроме того, я считал совершенно неправильным политически, объявив мораторий, не дождавшись того, что он приведет к прекращению ядерных испытаний во всем мире, – а это, несомненно, произошло бы через несколько месяцев, – вновь начинать испытания (сейчас Горбачев был гораздо более последователен и настойчив). Я с этим пошел к Курчатову. В это время Курчатов был очень болен. Некоторое время перед этим у него

был инсульт. Он не ходил в свой институт, но ежедневно принимал сотрудников у себя дома и таким образом продолжал осуществлять руководство. Он жил на территории института. Был у него такой домик, который его сотрудники называли «домиком лесника». Он, между прочим, сам из семьи лесника. Потом он оправился и стал ходить в институт, стал более активно работать, несколько лет работал... Но вот это был период, когда все разговоры с ним велись дома. Я приехал к нему домой и изложил свои соображения. Он долго меня расспрашивал и решил, что я прав. И тогда он, пренебрегая запретами врачей, сел в самолет и полетел к Хрущеву в Крым, где тот в то время отдыхал. Потому что решить этот вопрос мог только Хрущев. Хрущев был очень разозлен, отказался последовать совету Курчатова, и испытания осенью 1958 года были продолжены. Курчатов после этого потерял милость Хрущева. Он на протяжении ближайших нескольких лет уже ее не имел...

– Он же умер в 1960 году, – напоминаю я.

– Да, он умер в 1960 году, – подтверждает Сахаров,

– от повторного инсульта. Вот, мне кажется, что этот эпизод характеризует Курчатова как человека с нетривиальным мышлением, способного действовать не как чиновник, которые, как известно, всегда говорят то, что хочется начальству, а так, как он считает своим долгом. Это проявлялось и в ряде других эпизодов.

– А какие-то отрицательные его черты вы наблюдали?

– Я с ним общался в тех ситуациях, когда его отрицательные черты не проявлялись. Может быть, я что-нибудь и слышал в том роде, но это было не со мной, а потому я не хотел бы об этом говорить.

### **Ученые, знайте свое место!**

Летом 1961 года состоялась встреча ученых-атомников с Хрущевым. Выяснилось: предстоит новая серия атомных испытаний, которая должна подкрепить новую политику СССР в германском вопросе, то бишь Берлинскую стену

(ее строительство началось в августе того года на фоне обострения отношений между советским и западным миром). Сахаров послал Хрущеву записку:

«Возобновление испытаний после трехлетнего моратория подорвет переговоры о прекращении испытаний и о разоружении, приведет к новому туру гонки вооружений, в особенности в области межконтинентальных ракет и противоракетной обороны».

Хрущев положил записку в карман и пригласил всех обедать. За столом он произнес речь, которая, по воспоминаниям Сахарова, в общих чертах сводилась к следующему. Сахаров хороший ученый, но предоставьте нам – специалистам этого хитрого дела, – делать внешнюю политику. Только сила, только дезориентация врага! Мы не можем сказать вслух, что мы ведем политику с позиции силы, но на самом деле это так. Я был бы слюнтяй, а не председатель Совета Министров, если бы слушался таких, как Сахаров.

Повторилась история с Неделиным: ученые, знайте

свое место!

Следующий раунд борьбы против испытаний состоялся в 1962 году. Тогда затеяли новый взрыв. При этом, как считал Сахаров, исходили из ведомственных, министерских интересов, с технической точки зрения испытания были бесполезны. Взрыв намечался очень мощный, на большой высоте, так что число жертв неминуемо оказалось бы огромным. В течение нескольких недель Сахаров предпринимал отчаянные попытки не допустить этого. Накануне взрыва он позвонил министру Славскому и пригрозил уйти в отставку. Министр отмахнулся: мы вас не держим. Тогда Сахаров бросился искать Хрущева, сумел до него дозвониться, хотя он в ту пору был в Ашхабаде, умолял его вмешаться и не допустить нового атомного гриба. На следующий день Сахаров имел объяснение с одним из приближенных Хрущева, который сообщил ему, что испытания перенесены на более ранний срок и самолет-носитель уже находится в воздухе...

«Чувство бессилия, нестерпимой горечи, стыда и уни-



жения охватило меня. Я упал лицом на стол и заплакал», — писал позднее Сахаров.

Даже если ничего другого не знать о Сахарове, прочтя эти слова, я думаю, надо встать и низко ему поклониться.

Отчаяние не осталось просто отчаянием. В Сахарове произошел перелом. В другом месте о том же самом он пишет уже несколько иначе:

«Чувство бессилия и ужаса, охватившее меня в этот день, запомнилось на всю жизнь и многое во мне изменило на пути к моему сегодняшнему мировосприятию».

Из моего разговора с Харитоном. Юлий Борисович хорошо помнит эту историю со взрывом 1962 года:

— Да, 1962 год. Андрей Дмитриевич предпринял очень большие усилия, чтобы не допустить испытательный взрыв, который с технической точки зрения был излишним — так по крайней мере ему казалось. Я был с ним совершенно согласен: с помощью этого взрыва ничего существенного по-

лучить было нельзя, вред же здоровью людей он бы неминуемо нанес значительный. Взрыв намечался на большой высоте, и радиоактивность должна была распространиться буквально по всему миру. Сахаров просто не мог не вступить в борьбу за его отмену. Он дозвонился до Хрущева, который в ту пору был где-то на Востоке, и уговаривал его отменить взрыв. Для него непереносимо было сознавать, что какое-то дополнительное число людей – тысячи или десятки тысяч – заболеют онкологическими заболеваниями. Он был очень чувствителен. С одним испытанием он еще согласился, потому что без него обойтись было нельзя, а вот лишнее испытание – это для него было невероятно тяжело.

– Не отговаривали вы его?

– Отговаривать его было бессмысленно, хотя я понимал, что все его попытки предотвратить взрыв – как говорится, полная безнадега.

Оглядываясь на те дни, на эту отчаянную борьбу уче-

ного-одиночки, ставишь ее рядом с океаном лжи, которую потом обрушили на его голову люди, пальцем о палец не ударившие, чтобы отвести беду от тысяч ни в чем не повинных своих соотечественников, жителей других стран, но, тем не менее, считавшие себя вправе бросать Сахарову вздорные обвинения, будто он призывает к ядерной войне.

Все же, наверное, эпопея эта оставила в душе Сахарова не только боль и ужас. В конце концов она принесла плоды – договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под водой, заключенный в 1963 году, о котором уже была речь. Сахаров по праву гордился, что тут есть и доля его заслуги.

### ***Все-таки – будет ли ядерная война?***

*«Вопрос. В последнее время распространилось представление, что гонка вооружений в основном направлена на то, чтобы экономически измотать противника. Это действует успокаивающе, люди начинают думать: «Никакой реальной угрозы вой-*

ны нет — просто идут экономические игры, экономическое соревнование». Разделяете ли вы такое представление?»

Ответ на этот вопрос не очевиден, и мы с интересом ждали, что напишет Сахаров.

*«Ответ. Я считаю, что причиной гонки вооружений является взаимное недоверие. Изматывание противника может быть целью, но глубинной причиной является именно величайшее недоверие, величайший страх одной системы перед другой. Что касается экономического изматывания, то это, на мой взгляд, обоюдоострая вещь. Очень обоюдоострая вещь... Но до сих пор государства все-таки как-то справлялись с этим, создав уже такое оружие, что оно может их всех много раз уничтожить. Поэтому я думаю, что когда говорят об экономическом изматывании или о том, что гонка вооружений нужна для военно-промышленного комплекса, — это все существует, но это все второстепенно. Главное — это взаимное недоверие, взаимный страх.*

*Вопрос. То есть при создании новых видов оружия глав-*

ным образом имеется в виду его прямое назначение – сдерживание и, в крайнем случае, применение?

*Ответ. Думаю, что да. Хотя на втором плане экономические мотивы и аргументы существуют, и об экономическом изматывании говорили некоторые идеологи администрации Рейгана. Но все-таки, я считаю, все это сильно вторично. Ни им, ни нам не надо ставить это во главу угла в наших оценках и в нашей пропаганде».*

– Андрей Дмитриевич, – говорю я, – как вы считаете, будет ли ядерная война, доживет ли человечество до третьего тысячелетия? Я не хочу, чтобы вы выступали в качестве пророка – просто хочу, чтобы вы привели какие-то аргументы и кратко проанализировали проблему... Ведь человечество впервые оказывается в такой ситуации, когда горы оружия создаются, но не пускаются в ход. В прошлом они всегда использовались по назначению.

– Да, сейчас ситуация качественно иная, чем в прошлом. Именно потому, что это оружие, если оно будет пущено в ход, будет означать коллективное самоубийство че-

ловечества. Наличие этого оружия, конечно, представляет потенциальную опасность, но вероятность того, что оно будет пущено в ход, гораздо меньше, чем когда-либо раньше. Правда, это вероятность чудовищного исхода. Прогнозы никакие невозможны. Я считаю, что просто нужно двигаться к миру. Нужно двигаться, нужно преодолевать взаимное недоверие. В долгосрочном плане, я считаю, это возможно на путях конвергенции. С отказом от идеологических догм. В общем, я остался на тех же позициях, на которых я стоял в 1968 году, когда писал «Размышления». Остался в смысле того, что надо делать. Что касается прогнозов, которые я тогда делал, — это был в какой-то мере литературный прием. Прогнозы делать вообще почти невозможно.

— Вы остались на тех же позициях... А изменилось ли общество, как вы полагаете? Какое-то движение произошло или нет?

— Я считаю, что изменения происходят, и изменения в целом — в правильном направлении. Вот журнал «Нью-Сайентист» (американский журнал. — **О.М.**) изображает

опасность всеобщей термоядерной войны при помощи часов на своей обложке...

– Не «Нью-Сайентист», а «Бюллетень ученых-атомников», – поправляю я. Тоже американский журнал.

– Да-да. «Бюллетень ученых-атомников». Я ошибся. И они в последнее время переводят стрелку все ближе и ближе к двенадцати. Я считаю, что это неправильно – целый ряд факторов, возникших в настоящее время, мог бы дать основания для того, чтобы этот журнал отодвинул стрелку от двенадцати. И среди этих факторов я могу назвать те изменения, тенденция к которым наметилась в нашем обществе. И некоторые, пока частичные, договоренности, достигнутые на пути взаимного компромисса. Излишнее нагнетание страха и отчаяния парализует разум и так же опасно, как самоуспокоенность.

Боюсь, что сейчас, когда заканчиваю эту книгу (весна 2015-го) и когда давно уже нет Андрея Дмитриевича, стрелка апокалиптических часов опять приблизилась к двенадцати. Благодаря милитаристским настроениям, безраз-

дельно воцарившимся в Кремле.

## **Конвергенция социализма и капитализма**

Ключевая идея сахаровских «Размышлений» – конвергенция (сближение) социалистической и капиталистической систем.

«В результате экономической, социальной и идеологической конвергенции, – писал автор, – должно возникнуть научно управляемое демократическое плюралистическое общество, свободное от нетерпимости и догматизма, проникнутое заботой о людях и будущем Земли и человечества, соединяющее в себе положительные черты обеих систем».

Сегодня этот тезис выглядит вроде бы довольно архаичным. Но тогда... Выдвинутая Сахаровым идея конвергенции казалась – в том числе, по-видимому, и самому автору – пределом, на который только и может посягнуть воображение советского человека. Это была неслыханная



крамола: какая конвергенция, какое сближение – социализм, только социализм и коммунизм – вот светлое будущее человечества! Слово «конвергенция» тут же оказалось под запретом. Оно изгонялось отовсюду. Его можно было произносить разве что шепотом на кухне. Однако реальная жизнь пошла гораздо дальше. Произошло нечто совсем уж, казалось бы, невысказанное – вместо конвергенции социалистическая система просто-напросто безоговорочно капитулировала перед капиталистической.

Впрочем, Сахаров не дожил до этого момента. К идее конвергенции он возвращался и в самом конце своей жизни, в 1989-м, более чем двадцать лет спустя после выхода «Размышлений», хотя упоминал о ней главным образом в связи с необходимостью решения так называемых глобальных проблем.

«Я убежден, – писал он, – что их решение требует конвергенции – уже начавшегося процесса плюралистического изменения капиталистического и социалистического общества (у нас это – перестройка). Непосредственная цель

– создать систему эффективную (что означает рынок и конкуренцию) и социально справедливую, экологически ответственную».

От такого понимания слова «конвергенция», я думаю, не должны отказываться и мы сейчас. В конце концов, действительно не только социализм оказался плох, но и капитализм, конечно, далеко не совершенен (впрочем, само слово «капитализм» употребляется все реже). В более или менее отдаленной перспективе, чтобы выжить, человечество должно будет озаботиться устройством какого-то нового общественного миропорядка – в первую очередь, именно «экологически ответственного». Хотя я не уверен, что слово «конвергенция» для такого процесса окажется самым подходящим.

## **Травля**

Ядерная угроза была самым первым толчком, побудившим Сахарова стать на тропу «общественно-публици-

стической» деятельности, чтобы противостоять этой угрозе. И с тех пор он не сворачивал с этой тропы. Тем не менее, в разгар брежневщины его совершенно фантастическим образом обвиняли как раз в обратном — в призывах к войне. Нет пределов для лжи.

Наиболее мощная кампания травли, направленная против Сахарова, была проведена в конце августа — начале сентября 1973 года. Поводом для нее стало интервью, данное Сахаровым корреспонденту шведского радио Улле Стенхольму и широко распечатанное на Западе. В этом интервью Сахаров изложил свои взгляды на международные отношения. Сигнал к началу кампании дала «Правда», напечатав 29 августа «Письмо членов Академии наук СССР». Письмо невелико, потому стоит привести его полностью:

«Считаем необходимым довести до широкой общественности свое отношение к поведению академика А.Д. Сахарова.

В последние годы академик А.Д.Сахаров отошел от активной научной деятельности и выступил с рядом заяв-

лений, порочащих государственный строй, внешнюю и внутреннюю политику Советского Союза. Недавно в интервью, данном им зарубежным корреспондентам в Москве и опубликованном в западной печати, он дошел до того, что выступил против политики Советского Союза на разрядку международной напряженности и закрепление тех позитивных сдвигов, которые произошли во всем мире за последнее время.

Эти заявления, глубоко чуждые интересам всех прогрессивных людей, А.Д.Сахаров пытается оправдать грубым искажением советской действительности и вымышленными упреками в отношении социалистического строя. В своих высказываниях он по существу солидаризируется с наиболее реакционными империалистическими кругами, активно выступающими против курса на мирное сосуществование стран с разными общественными системами, против линии нашей партии и государства на развитие научного и культурного сотрудничества, на укрепление мира между народами. Тем самым А.Д.Сахаров фактически

стал орудием враждебной пропаганды против Советского Союза и других социалистических стран.

Деятельность А.Д.Сахарова в корне чужда советским ученым. Она выглядит особенно неприглядно на фоне концентрации усилий всего нашего народа на решении грандиозных задач экономического и культурного строительства СССР, на укреплении мира и международной обстановки.

Мы выражаем свое возмущение заявлениями академика А.Д.Сахарова и решительно осуждаем его деятельность, порочащую честь и достоинство советского ученого. Мы надеемся, что академик Сахаров задумается над своими действиями».

Под письмом стояло сорок академических подписей, в том числе – Н.Г.Басова, Н.Н.Боголюбова, А.Е.Браунштейна, А.П.Виноградова, С.В.Вонсовского, Н.П.Дубинина, Н.М.Жаворонкова, Б.М.Кедрова, М.В.Келдыша, М.А.Маркова, А.Н.Несмеянова, Ю.А. Овчинникова, А.И.Опарина, Б.Е.Патона, А.М.Прохорова, А.М.Румянцева,

Н.Н.Семенова, Д.В.Скобельцына, С.Л.Соболева, В.Д.Тимакова, А.Н.Тихонова, П.Н.Федосеева, И.М.Франка, Ю.Б.Харитона, М.Б.Храпченко, П.А.Черенкова, В.А.Энгельгардта.

Несколько странно, что число подписчиков «круглое» – сорок, ни больше, ни меньше. Или так было задумано? Как говорили, главным сборщиком подписей и выкручивателем рук (далеко не всем, конечно, пришлось выкручивать – немало оказалось и добровольцев) был «Главный теоретик космонавтики», в ту пору президент Академии наук СССР М.В.Келдыш.

Правду сказать, кое-каких имен в этом списке не доставало – В.Л.Гинзбурга, например, Я.Б.Зельдовича, П.Л.Капицы, М.А.Леонтовича, С.П.Новикова. Иные, с риском для себя, отвергли предложение о подписи, другим и не предлагали, заведомо зная, что они откажутся.

При всем при том Виталий Лазаревич Гинзбург расска-

зывал мне, что он с тревогой раскрывал каждое утро газету, опасаясь увидеть свою фамилию под какой-нибудь антисахаровской петицией. Такова была атмосфера, таковы были замашки власти – спокойно могли «влепить» вашу подпись под какой-нибудь паскудный текст, не испросив вашего согласия.

Может, и Харитон оказался в числе сорока против его воли? Задаю ему вопрос прямо «в лоб»:

– Юлий Борисович, в августе 1973 года вы подписали письмо сорока академиков, которое послужило сигналом для начала самой мощной кампании травли Сахарова. Мне рассказывали, что из всех сорока лишь две подписи удивили Андрея Дмитриевича – Ильи Михайловича Франка и ваша. Что побудило вас поставить свою подпись?

– Дело в том, что с некоторыми положениями, которые развивал Андрей Дмитриевич, в частности, касающимися характеристик социализма и капитализма, я был не согласен. Сейчас я сожалею о своей подписи: никакие наши разногла-

сия, разумеется, не должны были меня побудить участвовать в этой акции. И, конечно, я не ожидал, что за этим письмом последует такая кампания травли.

– Наверное, у вас осталось какое-то чувство вины перед Андреем Дмитриевичем? Не пытались ли вы как-то помочь ему позже, когда он был сослан в Горький?

– У меня были разговоры с Андроповым по этому поводу – в ту пору он был председателем КГБ. Я пытался убедить его облегчить положение Сахарова. К сожалению, он мне отказал, не вдаваясь при этом в подробное обоснование отказа. Кстати, Андрей Дмитриевич так и не узнал, что я ходил к Андропову. Я не говорил ему об этом.

– А вопрос о возвращении Сахарова в Москву вы не поднимали?

— Нет. Я понимал, что это безнадежно.

Начавшаяся в 1973 году кампания травли Сахарова –



ценнейший памятник эпохи. Из письма академиков, как видим, невозможно понять, что же такого сказал в своем интервью Сахаров, за что его следует решительно осуждать. Между тем все последующие письма, напечатанные в газетах, ссылались именно на это первое письмо как на содержащее будто бы некую информацию. То есть обсуждалось и осуждалось нечто неведомое, но обсуждавшие и осуждавшие делали вид, что предмет разговора им доподлинно известен.

Писатели:

«Прочитав опубликованное в вашей газете письмо членов Академии наук СССР относительно поведения академика Сахарова, порочащего честь и достоинство советского ученого, мы считаем своим долгом выразить полное согласие с позицией авторов письма...»

Медицинские академики:

«Мы, советские ученые-медики, оскорблены поведением академика А.Д.Сахарова, порочащим честь и достоинство советского ученого, и вместе с учеными Академии

наук СССР решительно осуждаем...»

Слова-то какие – «поведение академика Сахарова». Точно это не взрослый человек, известный ученый, трижды Герой, а ученик пятого класса Ваня Сидоров...

Академики-художники:

«Мы, члены Академии художеств СССР, целиком поддерживаем протест членов Академии наук СССР, опубликованный в газете «Правда», и решительно осуждаем клеветнические заявления академика Сахарова. Мы считаем его поведение...»

Композиторы:

«Ознакомившись с письмом членов Академии наук СССР, опубликованным в газете «Правда» от 29 августа, мы, советские композиторы и музыковеды, целиком присоединяемся к их оценке действий А.Д.Сахарова...»

Деятели кино:

«Мы, советские кинематографисты, ознакомившись с письмом группы академиков, опубликованным в газете «Правда», полностью присоединяемся к их оценке недо-

стойного поведения А.Д.Сахарова...»

Интересно сегодня рассматривать подписи под письмами. Писательские, например. Вместе с не вызывающими удивления фамилиями Ю.Бондарева, Н.Грибачева, А.Кешокова, В.Кожевникова, Г.Маркова, С.Михалкова, В.Озерова, С.Сартакова, А.Софронова, Н.Тихонова, А.Чаковского стоят подписи Ч.Айтматова, В. Быкова, С.Залыгина, К.Симонова, С.С.Смирнова.

В числе подписантов-композиторов вместе с Т.Хрениковым – Д.Кабалевский, Г.Свиридов, Д.Шостакович, Р.Щедрин.

Из деятелей кино вместе с Г.Александровым, С.Бондарчуком, С.Герасимовым, Л.Кулиджановым, Е.Матвеевым, Ю.Озеровым – Р.Кармен, С.Юткевич.

Почему-то отставшие от поезда академики Н.Цицин и А.Имшенецкий напечатали индивидуальные письма. Надо полагать, чтобы их молчание не посчитали вольнодумством. Забавно при этом: в письме А.Имшенецкого просочилось, что Сахаров все-таки выступает за мирное сосуще-

ствование, а не против. Собрат по академии лишь поучал Андрея Дмитриевича, что он делает это как-то не так:

«Горько видеть, что знания у специалиста сочетаются с абсолютным непониманием того, как он должен бороться за мирное сосуществование стран, имеющих различные социальные системы...»

Отдельно прислали письмо из Сибирского отделения Академии наук. Там, среди других, стояли подписи М.А.Лаврентьева, Г.И.Марчука, А.Н.Скринского, А.А.Трофимука, В.А.Коптюга, С.С.Кутателадзе.

С осуждением Сахарова выступил знатный полевод, почетный член ВАСХНИЛ Т.С.Мальцев:

«Я до глубины души возмущен и вместе с тем удивлен, что среди академиков нашелся человек, которому не дорого благополучие нашего народа, не дороги принципы мирного сосуществования...»

Тут, видите, опять – мирное сосуществование не дорого.

«...Он заодно с заядлыми нашими врагами – импери-

алистами стремится чинить препятствия налаживанию мирной жизни народов нашей планеты.

Члены Академии наук правильно осудили отступника. Академик Сахаров заслуживает всеобщего презрения за предательство интересов науки, интересов советского народа, всего прогрессивного человечества».

Еще крепче «прикладывал» Сахарова белорусский академик Н.П. Еругин:

«Забросив науку, он ринулся в атаку на мирную советскую политику, на советский образ жизни. Маска сброшена, перед нами предстала по сути дела марионетка в руках темных империалистических сил».

Интересно, до чего бы договорились авторы этих писем, распадая друг друга, если бы эта кампания длилась не неделю, а дольше.

Одновременно с письмами известных деятелей печатались письма рядовых читателей.

«Мы, представители многотысячного коллектива рабочих Автозавода имени И.А.Лихачева...»

«Мы, механизаторы тракторной бригады ордена Ленина колхоза имени XX съезда КПСС Новоукраинского района Кировоградской области...»

«Мы, доменщики Магнитогорска...»

«Коллектив нашей бригады с возмущением узнал о поведении академика Сахарова...»

«Наши колхозники до глубины души возмущены непорядочными действиями академика Сахарова...»

«Я и мои товарищи по труду прочитали письмо выдающихся советских ученых-академиков по поводу недостойных действий академика Сахарова...»

Какие действия? Какое поведение? Спросить бы у тех, чьи фамилии стоят под этими строчками.

Впрочем, известно, как в былые годы «организовывались» подобные «письма трудящихся».

Как пятнадцать лет назад Пастернака, Сахарова упрекали в том, что он неблагодарный едок народного хлеба.

«...Человек, который, используя все блага советского строя, стал ученым, живет в условиях, которым позавидо-

вали бы многие ученые мира...» (я тут вспоминал обшарпанную «двушку» Сахаровых на улице Чкалова) «...теперь пытается охаивать и миролюбивую политику нашей партии, и советский образ жизни».

«Как можно пользоваться благами советского ученого и гражданина и в то же время поносить самое святое – Родину нашу, отвоеванный и укрепленный мир?»

«...Неблагодарность... к народу, тебя воспитавшему, к Родине, создавшей все условия для плодотворной успешной работы, преступна».

«...Не укладывается в сознании, как гражданин Советского Союза, используя все блага нашей жизни, все, что дано советским строем, мог дойти до такого падения!»

Бывший партизан Г. Забелло из Подольска рассказал в своем письме об украинской Зое – партизанке Кате Ганзиной, замученной и сожженной фашистами в известковой печи.

У читателя создавалось ощущение, что это чуть ли не Сахаров ее замучил и сжег.

Текстам соответствовали и заголовки писем: «Отповедь клеветнику», «Предел падения», «Недостойно звание ученого», «Грязная попытка», «Позорит звание гражданина», «Недостойная акция», «Такое поведение – предательство», «Позиция, чуждая народу», «Заодно с врагами»...

Что же это за интервью, которое вызвало такую волну осуждения и протестов? В нем Сахаров впервые связал международную разрядку, вокруг которой в ту пору было много пропагандистского шума (она ставилась в заслугу Брежневу), с необходимостью демократизации порядков в самом Советском Союзе. До той поры брежневская команда полагала, что она может спокойно лицедействовать на международном поприще, разыгрывая роль миролюбцев, и одновременно придушивать малейшие продыхи свободы по эту сторону госграницы. Причем, что самое любопытное, эта двойная игра нисколько не задевала западных деятелей, полагавших, видно, что внутренние злодейства – одно, а внешнее «миролюбие» – другое. Сахаров раскры-



вал им глаза на фальшивость такой разрядки. Отсюда – неистовство дирижеров брежневско-сусловской пропаганды, обрушенной на Сахарова, при всей нерасшифрованности истинных мотивов этой ярости.

...В морозное воскресенье 17 декабря 1989 года, когда непрерывающийся поток обледенелых москвичей и приезжих (сколько вдруг единовременно собралось вместе чистых, светлых, интеллигентных лиц!) все тек и тек мимо гроба Андрея Дмитриевича во Дворце молодежи, обтекая его с двух сторон, всякий примечал посреди капитальных казенных венков воткнутую бумажку с надписью, сделанной от руки красным фломастером, – «Прости нас!» – самые точные слова, какие можно сказать последнему святому, отринутому на грешной и беспутной земле русской.

### **Чем наглее ложь, тем быстрее в нее поверят**

В начале 1987-го наши газеты наперебой обвиняли

США в нежелании откликаться на советские мирные предложения, как в них говорилось, — на «инициативы». Далее в нашем интервью идет вопрос в духе этой кампании.

*«Вопрос. Почему, с вашей точки зрения, противоположная сторона не хочет делать ответных шагов, ожидая уступок только от нас?»*

Это был дополнительный вопрос. Сахаров вписал от руки на оставленном нами месте:

*«Ответ. Все те договоренности, которые были достигнуты в последние годы, основывались на встречном движении, на компромиссах. Это не отменяется тем, что каждая из сторон при этом упрекала другую в недостаточной уступчивости. Линии договоренности, наметившиеся в Рейкьявике, тоже носят компромиссный характер».*

*(В скобках напомню: на встрече в Рейкьявике 11-12 октября 1986 года Горбачев и Рейган действительно наметили компромисс, великий компромисс — ПОЧТИ до-*

*говорились о полной ликвидации ядерного оружия в течение 10 лет, но... Всё уперлось в эту самую СОИ. Горбачев настаивал, чтобы одновременно с сокращением ядерного оружия США свернули эту программу, ограничили бы лабораторными исследованиями, без вынесения их в космос, то есть настаивал на упомянутом выше принципе «пакета» – полная ликвидация ядерного оружия плюс фактическое прекращение работы над СОИ, Рейган же был категорически против этого. Так они и разъехались, ни о чем не договорившись, упустив исторический шанс в деле разоружения).*

– Андрей Дмитриевич, – говорит Юра, – почему-то речь все время идет о двух странах – СССР и США. Мы это каждый день слышим по радио, по телевизору... Но ведь ядерное оружие может применить какая-то «третья» страна, а не наши две. И спровоцировать конфликт...

– Вообще террористы могут его применить, – добавляю я.

– С террористами, конечно, дело всегда плохо... –

отвечает Сахаров. – Но... Слишком сложная штука. Слишком сложная штука (имеется в виду ядерное оружие. – **О.М.**) И вопрос не только в том, чтобы получить достаточное количество делящихся ядерных материалов...

Помня о секретности, он, видимо, не желает договаривать, в чем еще сложность.

– Конечно, всякие ужасные случайности возможны, – продолжает он, – но это еще не будет большая термоядерная война.

– То есть вы считаете, что возможен локальный ядерный конфликт?

– Нет, я говорю только о террористах. Террористы... Не дай Бог, чтобы к ним в руки попало что-нибудь такое... По-моему, это пока маловероятно. Но если мы даже допустим такую возможность, все-таки это будет что-то локальное. Что касается «третьих» стран – не СССР и не США, вообще не великих держав, – я надеюсь, что они все-таки не прибегнут к ядерному оружию. Потому что это очень обоюдоострая вещь.

Я напоминаю Сахарову слова известного английского философа Бертрана Рассела: опасность ядерной войны будет увеличиваться по мере того, как человечество будет привыкать жить на пороховой бочке.

– В самом деле, – говорю я, – сорок с лишним лет прошло с тех пор, как появилась бомба. Каждый думает: «Ничего ведь не произошло...»

– Произошло очень многое, – возражает Сахаров. – Сама пороховая бочка стала совсем другой. Когда Рассел говорил эти слова, с помощью имевшегося тогда оружия можно было многократно тиражировать Хиросиму, но это не было бы еще уничтожением человечества. То термоядерное оружие, которое возникло с тех пор, создало качественно иную ситуацию, к которой привыкнуть невозможно. И в СССР, и в США, и в Европе, вообще во всем мире все знают, что большая термоядерная война – это всеобщий полный конец.

В начале восьмидесятых перед людьми открылась самая страшная сторона ядерной войны, до тех пор почему-

то ускользавшая от общего внимания, — «ядерная зима». Что это такое? В результате глобальной ядерной войны в атмосферу будут выброшены сотни миллионов тонн грунта, сажи от пожаров, так что она сделается непроницаемой для солнечного света. По всей земле настанет ночь, холод... Всеобщая гибель. Апокалипсис. Конец света.

В СССР модель «ядерной зимы» рассчитали академик Никита Моисеев и его младший коллега кандидат физмат наук Владимир Александров (позже он загадочно исчез во время командировки в Мадрид).

Задаю Сахарову вопрос, доверяет ли он расчетам модели «ядерной зимы».

— Я не знаю полностью всех этих работ, — отвечает Сахаров. — Я видел статьи, в которых оспариваются эти работы. При моделировании глобальных климатических последствий ядерной войны имеет место большая неопределенность. Но мы не можем рисковать. Гибель человечества в результате большой термоядерной войны может произойти от очень большого числа причин. А вернее — от

совокупности большого числа причин. Это очень хорошо освещено в литературе, я не буду повторяться. Я писал об этом, в частности, в своей статье «Опасность термоядерной войны». Об этих прогнозах. Эта моя статья в советской прессе была встречена в штыки. Ее полное название просто не было сообщено советскому читателю, тем не менее, она была освещена в газете «Известия» в статье, подписанной, к сожалению, четырьмя академиками. Это было провокационное действие и дезинформирующее действие. Одновременно появились клеветническая книга и клеветнические статьи Яковлева, в которых ответственность за мои действия переносилась на мою жену. Кроме того, там был чудовищный набор клеветы в отношении нее. В целом это была некая провокация против меня и против моей жены.

Печатная

провокация, которая, если была бы нормальная система судебной защиты, должна была бы повлечь уголовную ответственность за клевету и провокацию против личности...

Статья четырех академиков в «Известиях», о которой

говорил Сахаров, появилась 2 июля 1983 года и была подписана А.А.Дородницыным, А.М.Прохоровым, Г.К.Скрябиным и А.Н.Тихоновым.

Начиналась она так:

«Открыв номер американского журнала «Форин афферс» и обнаружив в нем пространную статью академика Андрея Сахарова, мы взялись за ее чтение, ожидая, по правде говоря, всякого. Что Сахаров пытается очернить все, что нам дорого, что он клеветает на собственный народ, выставляя его перед внешним миром эдакой безликой массой, даже и не приблизившейся к высотам цивилизованной жизни, мы хорошо знали.

Сахаровское творение в «Форин афферс» нас тем не менее поразило...»

Ощущение такое, что академики, в том числе престарелый Тихонов, регулярно читают американский журнал «Форин афферс» и наткнулись на статью Сахарова случайно, за утренним кофе.

Авторы обвиняют Сахарова во многих грехах, под ко-



нец даже – в призыве к войне:

«...Человек по существу призывает к войне против собственной страны... Несколько столетий назад Эразм Роттердамский сказал, что лишь немногие, чье подлое благополучие зависит от народного горя, делают войны».

Да, видно Эразм Роттердамский как раз и имел в виду таких пацифистов, как Сахаров, когда произносил эти слова. Вероятно, авторы текста, разгорячась от процесса писания, совсем потеряли ориентировку в действительности. (Впрочем, не думаю, что они сами этот текст писали – просто услужливо «подмахнули» написанное кем-то, обретающимся в окрестностях Лубянки).

Статья Сахарова посвящена как раз обратному – предостережению об опасности ядерного Апокалипсиса. Называется она, как уже знает читатель, «Опасность термоядерной войны» (в педантичной жажде точности Сахаров обычно употребляет слово «термоядерная» вместо «ядерная»).

Точно рефрен по всей статье повторяются слова об

ужасных угрозах, которые несет с собой война:

*«То, что вы (кто этот «вы», см. ниже. – О.М.) говорите и пишете об ужасных опасностях ядерной войны, очень близко моему сердцу и глубоко волнует меня в течение многих лет».*

(Обратный перевод приводимых цитат с английского на русский – мой: я спрашивал у Андрея Дмитриевича, не сохранился ли у него оригинал статьи, но по какой-то причине – сейчас уже не помню какой, – он не смог мне его предоставить).

*«...Большая ядерная война явилась бы бедствием неопишуемых масштабов и имела бы совершенно непредсказуемые последствия...»*

Статья написана как открытое письмо американскому ученому Сиднею Дреллу в связи с его выступлениями по поводу опасностей ядерной войны. К тем ужасам, которые описывает Дрелл, Сахаров добавляет много других, не упоминаемых Дреллом:

*«Сотни миллионов людей будут метаться в панике,*

*час-то из одной пораженной зоны в другую. Сотни миллионов людей неизбежно станут жертвами радиоактивного поражения, массовые миграции людей вызовут хаос, ухудшение санитарных условий и голод во всё больших масштабах. Генетические последствия радиоактивного поражения создадут угрозу существованию человека как биологического вида, так же, как угрозу всей животной, растительной жизни на Земле...»*

*«Продолжительные лесные пожары могли бы уничтожить большую часть лесов планеты...*

*Ядерные взрывы на большой высоте и в космосе... могли бы разрушить или серьезно повредить озоновый слой, защищающий Землю от солнечного ультрафиолетового излучения...*

*Разрушение транспорта и коммуникаций могло бы оказаться критическим для сложного современного мира.*

*Без сомнения, произойдет (полное или частичное) разрушение производства и распределения пищи, наруше-*

*ние снабжения водой, канализации, снабжения горючим и энергоснабжения, здравоохранения, обеспечения одеждой – все это в континентальных масштабах...*

*Особенно трудно ожидать, что человечество сможет поддерживать какую-либо социальную стабильность в условиях всеобщего хаоса. Огромные банды будут убивать и терроризировать людей, а также сражаться друг с другом в соответствии с законом уголовного мира: «Ты умрешь сегодня, а я умру завтра»...*

*Суммируя все, можно было бы сказать, что всеобщая ядерная война означала бы разрушение современной цивилизации, отбросила бы человека на столетия назад, вызвала бы гибель миллионов и миллиардов людей, и, с определенной степенью вероятности, вызвала бы гибель человека как биологического вида, и могла бы даже вызвать уничтожение жизни на Земле.*

*Ясно, что бессмысленно говорить о победе в большой ядерной войне, которая есть коллективное самоубий-*

*ство...»*

Концовка статьи – о том же самом:

*«В заключение я снова подчеркиваю важность того, чтобы мир понял абсолютную недопустимость ядерной войны, коллективного самоубийства человечества. Победить в ядерной войне невозможно. Чего необходимо добиваться, о чем постоянно думать, так это о полном ядерном разоружении, основанном на стратегическом паритете в обычных вооружениях. До тех пор, пока в мире есть ядерное оружие, должен сохраняться стратегический паритет ядерных сил, так, чтобы ни одна из сторон не рискнула бы начать ограниченную или региональную ядерную войну. Подлинная безопасность возможна только, когда она основана на стабильности в международных отношениях, отказе от экспансионистской политики, укреплении международного доверия, открытости и плюрализме в социалистических (социальных? – О.М.) обществах, соблюдении прав человека повсюду в мире, сближении – конвергенции – социалистических и капиталистических*

*систем, мировой координации усилий для решения глобальных проблем».*

Вот такой «призыв» к ядерной войне...

Что заставило Дородницына, Прохорова, Скрыбина и Тихонова подписать свою фальшивку? Ведь не грозили им расстрелом. Или хотя бы понижением зарплаты. Самое большее, чем они рисковали, – узреть мимолетную тень во взгляде начальства. Неужто это так страшно? Неужто из-за такой угрозы можно забыть о совести?

Особенно здесь удивительна подпись Александра Михайловича Прохорова, нобелевского лауреата, одного из создателей лазера. Ему-то зачем вываливаться в грязи, ронять высочайшую репутацию обладателя высочайшей научной награды?

Да, загадочна человеческая природа.

Конечно, Сахаров взял на себя и некий грех, смертельный грех, с точки зрения Дородницына, Прохорова, Скрыбина и Тихонова, – он встал «над схваткой», поднялся выше взаимных пропагандистских дрызг и спокойно

проанализировал, в каком направлении следует двигаться, имея целью безопасность и разоружение. Но, во-первых, если вы хотите ему возразить, – возражайте! Опровергайте то, что он говорит, а не приписывайте провокационно, чего в его статье нет – например, чудовищное обвинение в подстрекательстве к ядерной войне. Во-вторых, именно по этому пути, на который указывал Сахаров, в конце концов, и двинулись обе стороны в своих переговорах и уже добились на нем к моменту нашего разговора колоссального успеха – договора о ракетах среднего и ближнего радиуса действия. В дальнейшем были еще более серьезные успехи – договоры СНВ-1, СНВ-2 (правда, так и не вступивший в силу).

К сожалению, потом, уже при Путине, вновь сползли на старую колею базарной ругани и взаимного нагромождения обвинений. Фактически – к возобновлению «холодной войны».

В одной из главок статьи, о которой идет речь, Сахаров говорит, например, о необходимости, чтобы Запад

пересмотрел свое отношение к обычным вооружениям. До сих пор западные политики, пишет он, сквозь пальцы смотрели на превосходство социалистического лагеря в обычных вооружениях, уповая на ядерное сдерживание.

*«Возможно, что в течение ограниченного периода времени, – говорится в статье, – страх перед ядерным оружием в самом деле имел определенное сдерживающее влияние на развитие событий в мире. Но в настоящее время равновесие ядерного страха представляет собой опасный пережиток прошлого! Чтобы предотвратить агрессию с использованием обычного оружия, никто не может прибегать к угрозе применить оружие ядерное, ибо такое применение недопустимо. Один из выводов, следующих отсюда, – ...что необходимо восстановить стратегический паритет в области обычных вооружений...»*

*...Это очень важное и нетривиальное утверждение...»*

Идея ядерного сдерживания весьма любима многими не только «там», но и «здесь». Причем любят ее вовсе не



плохие и не глупые люди. Требуется, однако, безжалостная логика такого человека, как Сахаров, чтобы показать бессмысленность этой идеи: сдерживать того, кого вы считаете потенциальным агрессором, можно лишь с помощью оружия, которое в самом деле можно при случае применить, но не такого, какое применить нельзя ни при каких обстоятельствах.

(Представляется, что сейчас Путин, не будучи в состоянии добиться равновесия в обычных вооружениях «по всем фронтам» возможного противостояния, вернулся к идее ядерного сдерживания – это, в частности, прочитывается между строк постоянно обновляемой Военной доктрины).

Мне возразят: не один Сахаров поднял голос против идеи ядерного сдерживания – это каждый день можно слышать по радио. Есть, однако, различие между невесомыми пропагандистскими словесами, за которыми не стоит ничего, кроме желания приукрасить себя и очернить дру-

гих, и той ясной логикой, о которой сказано выше.

Впрочем, после апреля 1985-го и в наших официальных сферах о бессмысленности ядерного сдерживания стали говорить вполне ответственно и серьезно. Тут Сахаров опять оказался пророком.

Тогда же, в 1983-м, ярость вызвало то, что Сахаров словно бы призывает Запад добрать в обычном вооружении. На разговор о бессмысленности ядерного сдерживания не обратили внимания.

Так же «над схваткой» стоит Сахаров и тогда, когда говорит о ядерном равновесии.

«...Сахаров призывает США, Запад ни при каких обстоятельствах не соглашаться с какими-либо ограничениями в гонке вооружений, ядерных в первую очередь, – уверяют Дородницын, Прохоров, Скрябин и Тихонов советского читателя, никогда не державшего в руках американский журнал «Форин афферс»... – Один из его аргументов – если у Вашингтона будут ракеты МХ, а это тоже известное оружие первого удара, – «Соединенным Шта-

там будет легче вести переговоры с СССР».

Между тем статья Сахарова только и посвящена тому, как добиться ограничения гонки вооружения и предотвращения самой ужасающей, какие только знало человечество, войны. В частности, то место насчет ракет МХ, о котором пишут академики, выглядит так:

*«Не менее важна проблема, касающаяся мощных ракет шахтного базирования. В настоящее время СССР имеет большое преимущество в этой области. Возможно, переговоры об ограничении и сокращении числа этих наиболее разрушительных ракет могли бы стать легче, если бы США вынуждены были иметь ракеты МХ, хотя бы потенциально (в самом деле, это было бы самое лучшее)».*

То есть для атмосферы на переговорах, считает Сахаров, благотворным было бы известие, что США работают над ракетой МХ, способной уравновесить аналогичные советские ракеты.

Это и другие подобные места в сахаровской статье вызвали самый яростный гнев академиков:

«Мы несколько раз возвращались к этим местам в статье Сахарова. И у нас появилось какое-то странное ощущение: да он ли это пишет?.. Да к какой стране и к какой «цивилизации» он себя относит и чего в конечном счете добивается?.. Что же он за человек, чтобы дойти до такой степени нравственного падения, ненависти к собственной стране и народу?..»

Впрочем, в конце концов оппоненты Сахарова осознали нужду отрешиться от этого деланного кликушества, стали спокойно считать, у кого сколько ракет, боеголовок, самолетов, танков, сколько чего надо сократить, чтобы всем стало жить спокойней.

Сахаров же давно понимал такую необходимость. И говорил о ней вслух, не озираясь на фальшиво-разъяренные крики лицемеров и фарисеев.

**«Не до ордена. Была бы Родина...»**

*Пойдем, однако, дальше по нашим вопросам и ответам Андрея Дмитриевича.*

*«**Вопрос.** В ваших «Размышлениях о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» был высказан ряд предположений о возможном развитии мира. Какие из них оправдались, какие нуждаются в коррекции?»*

*Ответ. Основные мысли, высказанные в «Размышлениях» и в Нобелевской лекции «Мир, прогресс, права человека», представляются мне правильными и сейчас. Это утверждение о неразрывной связи международной безопасности с открытостью общества, соблюдением прав человека (идеология защиты мира и прав человека) и об исторической необходимости конвергенции социалистической и капиталистической систем как условия выживания человечества».*

*В разговоре с Юлием Борисовичем Харитоном я его спросил:*

– Как вы считаете, отдавал ли Андрей Дмитриевич себе отчет, что рано или поздно эта вот его деятельность поставит его перед необходимостью оставить работу на «объекте»? Не беспокоило ли это его?

– Думаю, он понимал это очень хорошо, – ответил Юлий Борисович, – и это его не беспокоило. Он видел, что основное дело сделано, военный паритет достигнут. В ту пору еще не было видно, что в этой области возможно большое продвижение вперед. Паритет есть, – ну, и слава богу, и больше этим можно не заниматься.

Я продолжаю копать эту тему:

– Вот вы говорите: Сахарову в ту пору чего-то не было видно, каких-то возможностей в развитии той оборонной тематики, которой он занимался. Какие же столбовые направления он тут не разглядел? После того как он оставил работу, открылись какие-то принципиально новые вещи?

Харитон отвечает осторожно:

– Пока что ничего такого нет, но нельзя исключать, что в дальнейшем что-то будет обнаружено. Тут я не могу вдаваться в подробности.

– Как вы считаете, если бы Андрей Дмитриевич продолжал заниматься оборонной тематикой, принесло бы это пользу?

— Я думаю, что если бы он продолжал этим заниматься, он дошел бы кое до чего...

– Вы говорите о Сахарове почти теми же словами, какие гениальный Ньютон сказал о своем гениальном ученике Котсе, рано умершем: если бы жив был мистер Котс, мы бы от него узнали кое-что...

– ...То, что и он, и Зельдович отошли от этой тематики... Понимаете, как бы это сказать... И Сахаров, и Зельдович считали, что все уже сделано, дальше, как говорится, дело

техники. У меня же есть один принцип, который я проповедую: знать надо в десять раз больше, чем используешь. Иными словами, надо входить во все детали, хотя они кажутся лишними, чтобы было абсолютно полное исследование всех процессов, связанных с основной идеей. Потому что в ходе этого углубления, уточнения могут выскочить еще какие-то дополнительные вещи. Поэтому у меня есть просто глубокая уверенность, что если бы Сахаров и Зельдович продолжали свою деятельность в области оборонной тематики, они выкопали бы что-то существенное.

...Наше интервью с Сахаровым близится к концу, и мы ощущаем потребность задать какой-то вопрос для вдохновения читателя.

– Андрей Дмитриевич, – говорит Юра, – скажите, пожалуйста, вы, наверное, следите за развитием литературы, искусства?..

– Да-да, я тоже хотел спросить, – вырывается и у меня.



– Не очень, – признается Сахаров. – Моя система ознакомления с литературой следующая. Моя жена – усиленный читатель, и уж она мне рекомендует... Нет, она не пересказывает... То есть она иногда и пересказывает... Детективы... Которые я потом не читаю. А все стоящее она мне просто дает читать. Таким образом, я читаю сравнительно мало.

– Нет-нет, он очень подкованный, – смеется Елена Георгиевна. – Он скромный.

Мы спрашиваем, что из последнего более всего ему понравилось.

– На мой взгляд, яркие вещи – «Плаха» Айтматова и «Печальный детектив» Астафьева. Но самое серьезное – «Карьер» Быкова.

Напомню, что разговор происходит в начале января 1987 года. Забавное совпадение: Айтматов, Быков... «Подписанты» антисахаровских писем. Не видел там Сахаров этих имен, что ли? Или просто не придавал значения этим подписям?

*«Вопрос. Насколько мы знаем, в последние дни вы много времени проводили с западными журналистами. О чем они вас более всего спрашивают и что вы им отвечаете?»*

В ту пору возвращение Сахарова в Москву было темой номер один для западной печати. О том же без умолку трещали радиостанции.

*«Ответ. Они задавали почти те же вопросы, что и вы, я отвечал им то же, что и вам».*

Обидно, конечно, что мы так не оригинальны. Но мы себя утешали, что все же дело обстоит не совсем так. Что передают и печатают на Западе, нам ведомо. У них там несколько иные интересы.

– Ты обещал поговорить с испанцами завтра. Они тебе даже принесли вопросы, – напоминает Елена Георгиевна, листая какие-то страницы. – Вопросы обычные. Но когда, в какое время ты их примешь? Завтра четвертое число...

– Завтра... – повторяет Андрей Дмитриевич в неко-

торой растерянности. – Да, я действительно обещал встретиться с ними завтра... У нас в час «Нью-Йорк таймс»... В час у нас «Нью-Йорк таймс»...

Елена Георгиевна смеется:

– Я ополоумела уже от этих интервью.

– Круг вопросов действительно один и тот же? – недоверчиво переспрашивает Юра.

– Немножко варьируется... – говорит Сахаров. – «Нью-Йорк таймс» как раз отличается от других, и я должен подготовиться...

Елена Георгиевна читает вопросы испанских журналов:

– «Вы попросили амнистировать всех вольнопоселенцев...» Что такое вольнопоселенцы?

– Видимо, имеются в виду народы, переселенные в конце войны, – высказываем мы догадку.

М-да... Пусть они и задают подчас наивные, путаные вопросы, но вот у них там «на гнилом Западе» можно разговаривать с кем угодно, о чем угодно. Почти. Тема глас-

ности, свободы слова не стоит. А у нас... Вроде бы и двинулись в правильную сторону, но... Не знаю, что получится из нашего интервью.

Продолжаем движение по тексту:

*«Вопрос. Вы были лишены всех правительственных наград, в том числе трех золотых звезд Героя Социалистического Труда. Ожидаете ли вы, что вам их вернут?»*

*Ответ. Я ничего не знаю и не думаю об этом. «Не до ордена. Была бы Родина с ежедневными Бородино», – написал в 1942 году погибший на фронте Михаил Кульчицкий. Я, вспоминая эти строки, думаю о сохранении мира на Земле и восстановлении справедливости к узникам совести».*

### **Физика у них дома**

– Андрей Дмитриевич, – просит Юра, а вы не могли бы немного рассказать о себе, а то ведь мы практически очень мало о вас знаем. Где вы родились, как пришли в фи-

зику... Кратко.

– Краткая автобиография?

– Краткая, но достаточно развернутая.

– Краткая подробная. Я несколько раз писал кратко...

– Для отдела кадров?

– Нет, не для отдела кадров... В предисловии к книге «Сахаров сэйз»...

– Не дошла до нас.

Для Сахарова просьба рассказать о себе, видимо, неожиданна. Он уже видел перед собой близкую минуту отдыха. Но отказать он, конечно, не может...

Инициативу берет на себя Елена Георгиевна:

– Давай я буду говорить, а ты меня будешь поправлять. Ты отдохни пять минут. Ты устал. Родился в Москве. В 1921 году. Дед Сахарова был довольно известным либеральным адвокатом. Выступал в знаменитых процессах... Одна из его речей – в сборнике Кони.

– В советском сборнике «Знаменитые речи русских адвокатов», – поправляет супругу Андрей Дмитриевич.

– Был составителем и редактором сборника об отмене смертной казни в России. Вы, вероятно, знаете, что у Андрея Дмитриевича есть, среди прочих, и такое душевное хобби, видимо, наследственное, – борьба со смертной казнью. Он написал, между прочим, статью об отмене смертной казни. Отец Сахарова окончил Гнесинское училище по классу фортепиано. С золотой медалью. И висит там на доске, в Гнесинском. Может быть, до сих пор висит. Я не была там последние восемь или девять лет.

– Десять лет тому назад мы с тобой видели фамилию Сахарова на этой почетной доске, – уточняет Андрей Дмитриевич.

– Кроме того, он окончил физфак, – продолжает Елена Георгиевна, – работал много лет преподавателем в Московском педагогическом институте, который теперь имени Ленина. И написал довольно много популярных книг по физике. Автор знаменитого учебника по физике, который очень много переиздавался, – Блудов и Сахаров.

Сначала был просто Сахаров, а потом – Блудов и Сахаров. Последние два издания, посмертные, Андрей редактировал. Последнее издание было подготовлено к печати как раз тогда, когда начались все эти шумы с «Литгазетой», и вокруг Сахарова пошли круги. И договор был расторгнут. Хотя книга была уже сдана в издательство. И даже уже прошла гриф Учпедгиза и прочее.

– Да, я принимал участие в переработке учебника моего отца в шестьдесят третьем году, – добавляет Андрей Дмитриевич. – Там мною были написаны полностью две главы. Эта книга была издана большим тиражом и хорошо встречена. Потом она переделывалась гораздо более кардинально Михаилом Ивановичем Блудовым и мной. Но так как мое имя стало одиозным, ее издавать не стали. Я судился и получил шестьдесят процентов авторского гонорара. Михаил Иванович Блудов и я. Но книга осталась в рукописи...

– Так что физика была у Сахаровых дома, – продолжает свой рассказ Елена Георгиевна. – И у Андрея Дмит-

риевича никогда не было мысли идти учиться куда-то еще.

– «Атомы у нас дома»... – шучу я. – Так, если помните, называется книжка Лауры Ферми, жены знаменитого Энрико Ферми.

– Была у меня мысль стать микробиологом, – снова уточняет Андрей Дмитриевич, – но такая, поверхностная.

– Учился много лет дома. В школу пошел в первый раз в шестом классе.

– В пятом...

– В пятом. Потом бросил. Учили домашние учителя – в ту пору такое разрешалось. Я сама вначале тоже так образовывалась. Но меня во втором классе отправили в школу. В нашем поколении это было очень распространено. А сейчас, по-моему, это нельзя. Во всяком случае, когда у меня тяжело болел сын, мне не разрешили пользоваться частными преподавателями – присылали учителей из школы. И считалось, что он учится в школе. В общем, Андрей сэкономил год. Это оказалось кстати, иначе попал бы в армию. Но он школу кончил на год раньше и попал на



физфак. Когда началась война, у них лучших студентов отбирали в Военно-воздушную академию. Андрея Дмитриевича не взяли по медицинской комиссии. Он уехал с университетом в Ашхабад и окончил четырехлетний курс. Ему предложили аспирантуру, но он отказался, считая, что в войну в аспирантуре сидеть неудобно. И был послан в распоряжение Министерства вооружения.

– Там вы не занимались теоретической физикой? – некстати задает вопрос Юра.

– Я там не занимался теоретической физикой. Я там занимался сначала... вообще непонятно чем... А потом я занимался изобретательством в области методов контроля производства.

– В общем, послали его окончательно на Ульяновский патронный завод. Там был глазной, ручной контроль патронов, а он сделал автомат. До сих пор в учебнике Малова «Патронное дело» этот автомат фигурирует.

– Ты путаешь разные изобретения, – строго поправляет жену Андрей Дмитриевич. – В маловском учебнике

есть сахаровский прибор, но он не к визуальному контролю относится, а это прибор, имеющий отношение к проверке при помощи излома сердечника. Это другая вещь.

Трудно требовать от женщины знания таких тонкостей.

– Параллельно, уже к концу войны, он написал две статьи...

– Статей было больше, но послал две...

– Распространялись байки, – продолжает Елена Георгиевна, – что Сахаров не воевал и всю войну учился в аспирантуре. Это байки советской прессы. Сахаров не воевал потому, что его послали на этот оборонный завод. И сделал он там дело.

### **А дальше – никакой биографии**

– Зато моя жена воевала... – не без гордости вставляет Андрей Дмитриевич.

– А где вы воевали?

Про Елену Георгиевну тоже было много вранья.

– Я была на Волховском фронте. Была там тяжело ранена...

– Вы были медсестрой?

– Вначале, по комсомольской мобилизации, я была замполитрука. Были такие должности. До войны я училась на вечернем отделении филфака в Ленинграде, окончила там вечерние курсы медсестер запаса, как все студенты. Я ведь была сирота тридцать седьмого года, так что я днем работала. И когда я была ранена, я была санинструктором. Но одновременно была и замполитрука – комсоргская работа. Лежала в госпитале в Вологде и Свердловске. После госпиталя была направлена на военно-санитарный поезд, где пробыла до конца войны. Раньше я думала, что меня в мае перевели в Беломорский округ, а теперь нашла бумажку, где написано, что в июне. В Беломорском военном округе довольно долго было разминирование. Я была начальником медсанчасти отдельного саперного батальона и оттуда демобилизовалась. На поезде я успела получить

контузию, и у меня были поражены оба глаза... Один глаз я практически потеряла и была демобилизована как инвалид второй группы... И по сей день я всю жизнь инвалид второй группы. С большим боем я поступила в мединститут, потому что тогда с одним глазом не полагалось... Но давайте – об Андрее Дмитриевиче. После войны он вернулся в Москву, поступил в аспирантуру ФИАНа. Быстренько защитил диссертацию. Нет, правда, не быстренько, у него была задержка – он не сдал марксизм...

– Философию! Я философию не сдал. И не сдал исключительно по честности. Меня спросили, читал ли я какое-то произведение Чернышевского. Я сказал, что я не читал, но знаю, о чем там написано. Это было сочтено недостаточным, и мне поставили двойку. За честность. Потому что если бы я начал отвечать по пересказу, то я бы все рассказал. Это отсрочило мою защиту и получение продуктовых карточек ровно на полгода. А между тем жена и дочь из Ульяновска были привезены... Тогда у меня была еще только одна дочь, но это уже было кое-что. И очень нужны

были карточки. А как раз к тому времени, как я защитил, карточки отменили. Так что я не успел их получить.

– А потом был сорок восьмой год, – обозначает Елена Георгиевна следующую веху в биографии своего мужа. – Игорь Евгеньевич (Тамм. – **О.М.**) как-то сказал после семинара: «Сахаров, Беленький – кто там еще? – останьтесь. Остальные свободны».

– Он с большим огорчением, тревогой и в то же время с каким-то возбуждением сказал, – поясняет Андрей Дмитриевич, – что по постановлению правительства в Физическом институте создается специальная группа, которая будет заниматься, скажем прямо, проблемой создания водородной бомбы.

– В помощь Зельдовичу, – почему-то с иронией говорит Елена Георгиевна, имея в виду какую-то, по-видимому, лишь ей одной и Андрею Дмитриевичу ведомую причину.

– Не в помощь, а в качестве параллельной группы, – опять поправляет Андрей Дмитриевич. – Это был июнь

1948 года. Как раз когда Михалков написал свои знаменитые стихи о космополитах...

Многим людям послевоенного поколения памятливы эти михалковские конъюнктурные вирши:

*Я знаю, есть еще семейки,  
Где наше хаят и бранят,  
Где с умилением глядят  
На заграничные наклейки,  
А сало... русское едят.*

Может, это и есть скрытая причина смеха. Яков Борисович Зельдович, несомненно, должен был бы проходить по этому разряду – «космополитов» – не будь он к тому времени вовлечен в важнейшую оборонную работу, какую только знала в ту пору советская наука. Как всегда, к такой работе привлекались все без разбору – и «космополиты», и «не космополиты». Главным критерием был талант. Национальность не имела значения.

– А дальше – никакой биографии! – Елена Георгиевна победно гасит сигарету о дно пепельницы.

– Дальше никакой биографии, – механически повторяет Андрей Дмитриевич.

– До шестьдесят восьмого года.

– Дальше началась работа... Кандидатскую я защитил осенью сорок седьмого. «Мирным» кандидатом проходил полгода. Затем я фактически перестал заниматься фундаментальной наукой. Именно тогда я отошел от занятий наукой, а не «в последние годы»... Вот тогда они могли написать: «В последнее время отошел от научной деятельности».

– А доктором как вы стали?

– Была защита на секретном ученом совете, созданном специально для защиты моей докторской и еще одной, кандидатской, диссертации. Это было по секретной линии.

– Членкором вы, кажется, не были?

– Я никогда не был членом-корреспондентом Академии наук. Я был избран академиком, минуя эту фазу. По представлению Курчатова.

Этакая блистательная научная карьера. Была ли еще

одна такая в нашей стране? И все принести в жертву — идеалу, долгу, справедливости, совести. Уж здесь точно другого такого примера не сыскать.

В предисловии к книге «Сахаров говорит» (эта самая «Сахаров сэйз», я ее потом достал) Андрей Дмитриевич так вспоминает о годах своей работы по «военно-прикладной тематике»:

*«... Через несколько месяцев после защиты диссертации, весной 1948 года, я был включен в исследовательскую группу, занимавшуюся проблемой термоядерного оружия... Увлеченный грандиозностью задачи, я работал с максимальным напряжением сил, стал автором или соавтором некоторых ключевых идей. В западной печати меня часто называют «отцом водородной бомбы». Эта характеристика очень неточно отражает сложную реальную ситуацию коллективного авторства, о которой я не буду говорить подробно...»*

(Андрей Дмитриевич, повторяю, до последних дней



жизни свято соблюдал заветы секретности).

Примерно такого же мнения об «отцовстве» Сахарова держался и тогдашний руководитель советской программы разработки ядерного оружия академик Юлий Борисович Харитон (как уже говорилось, мы с ним беседовали на эти темы 19 декабря 1989 года, на следующий день после похорон Андрея Дмитриевича):

– Кто, по-вашему, – спросил я его, – внес наибольший вклад в создание советской термоядерной бомбы?

– Я думаю, что решающий шаг сделал, конечно, Андрей Дмитриевич. Но здесь достаточно велика также роль многих других. В общем-то, это была коллективная работа. В одном из отчетов самого начального периода Андрей Дмитриевич оговаривается, что развивает некоторые идеи, высказанные Зельдовичем. Так что трудно сказать, пришли бы ему в голову решающие мысли, если бы не было более ранних работ Якова Борисовича.

Сахаров продолжает чтение своих ответов:

*«В 1950 году наша исследовательская группа вошла в состав специального института. В течение последующих восемнадцати лет я находился в круговороте особого мира военных конструкторов и изобретателей, специальных институтов, комитетов и ученых советов, опытных заводов и полигонов. Ежедневно я видел, как огромные материальные, интеллектуальные и нервные силы тысяч людей вливаются в создание средств тотального разрушения, потенциально способного уничтожить всю человеческую цивилизацию. Я наблюдал, как рычаги управления находятся в руках циничных, хотя по-своему и талантливых людей. До лета 1953 года верховным шефом атомного проекта был Берия, во власти которого находились миллионы рабов-заклученных, почти все строительство осуществлялось их руками. С конца 50-х годов все более отчетливым образом вырисовывалось коллективное могущество военно-промышленного*

*комплекса, его энергичных, беспринципных руководителей, слепых ко всему, кроме своего «дела». Я был в несколько особом положении. В качестве теоретика-изобретателя, сравнительно молодого и к тому же беспартийного, я находился в стороне от административной ответственности, я был освобожден от партийной идеологической дисциплины. Мое положение давало мне возможность знать и видеть многое, заставляло чувствовать свою ответственность, и в то же время я мог смотреть на всю эту извращенную систему несколько со стороны. Все это толкало меня, особенно в идейной атмосфере, возникшей после смерти Сталина и XX съезда КПСС, на общие размышления о проблемах мира и человечества, в особенности о проблемах термоядерной войны и ее последствий».*

– И вот с подачи Генри, с подначки Генри, – продолжает Елена Георгиевна, – он написал «Размышления». В шестьдесят восьмом они были опубликованы за границей. Андрей Дмитриевич был отстранен от секретной работы и вернулся в ФИАН, к своим научным истокам...

– А «Размышления» были представлены нашему правительству перед их публикацией на Западе? – спрашиваю я.

– Были, – свидетельствует Андрей Дмитриевич. – И «Размышления», и «Памятная записка», и послесловие к ней...

– Насчет «Памятной записки» даже был разговор – вроде как ее собирались посмотреть... Большие начальники, – вспоминает Елена Георгиевна.

Знакомая ситуация, знакомые чувства: некто значительный благосклонно обещает «посмотреть» написанное тобою. Полистать. Но время идет, а значительное лицо все не листает и не листает твой опус. Стало быть, и академикам это знакомо.

– Кстати, когда Сахаров работал над «Размышлениями», мы с ним еще не были знакомы. Имя Сахарова я впервые в жизни услышала в шестьдесят восьмом, когда по чистой случайности оказалась за границей. А там «Размыш-

ления» уже были напечатаны. Я там прочла их...

– На Западе еще вышла книга «О стране и мире», – продолжает перечислять Андрей Дмитриевич.

– В этой книге, между прочим, – подхватывает Елена Георгиевна, – есть очень много положений, которым сейчас следует Горбачев. Я даже как-то, слушая его, подумала: ну, вот точно он читал книгу!

– А может быть, он в самом деле прочитал? – смеемся мы.

– Может быть, и прочитал, – говорит Андрей Дмитриевич серьезно, – или «Размышления», или эту книгу – «О стране и мире».

– Я думаю, «О стране и мире», – настаивает Елена Георгиевна. – Когда он говорил о пьянстве, – ну, точно, Сахаров говорит. Такое совпадение.

Стоит ли удивляться совпадению, если два человека одинаково смотрят на один и тот же предмет?

После «Размышлений» и отстранения от работы над ядерным оружием у Сахарова начинается, как он говорит,

«совсем другая жизнь» – восемнадцать лет, наполненных отчаянной и неравной борьбой с бесчеловечным режимом. В том числе семь лет горьковской ссылки, из которой, в принципе, если бы события в стране пошли как-то иначе, он мог бы и не вернуться (его здоровье к концу тамошней жизни было настолько подорвано, что он сам запросил у Горбачева пощады).

О Сахарове той поры можно сказать точно так же, как сказал о себе Солженицын: «бодался теленок с дубом».

Впрочем, сам Андрей Дмитриевич первым своим выступлением в защиту инакомыслящих, началом своей правозащитной деятельности считал «закрытое», нигде тогда не опубликованное письмо Брежневу по поводу преследований Александра Гинзбурга, Галанскова, Лашковой и Добровольского, которое он послал в феврале 1967 года, то есть еще работая на «объекте». Хотя это послание и было «закрытым», о нем, естественно, узнало непосредственное начальство Сахарова – министр среднего машиностроения Славский. Вскоре в одном из своих выступлений, опять-

таки на «закрытой» партконференции, он «коснулся поведения академика Сахарова». Это тоже было началом. Началом гонений и преследований.

Позже таких правозащитных демаршей – и эпистолярных, и иных – у Сахарова было великое множество. Достаточно пробежать глазами по аннотациям глав сахаровских «Воспоминаний»: «Дело Григоренко», «Спасаю Жореса», «Дело Пименова и Вайля», «Самолетное дело», «Дело Файнберга и Борисова», «Крымские татары», «Обыск у Чалидзе», «Суд над Красновым-Левитиным», «Дело Лупыноса», «Суд над Буковским» и т.д. и т.п. Это, наверное, самая весомая, если иметь в виду уровень драматизма и героизма, часть жизни Андрея Дмитриевича.

При этом, однако, стоит заметить, что отстаивание прав человека означало для Сахарова нечто большее, чем просто локальное, там и сям, восстановление попорченной справедливости.

«Я убежден – пишет он в своих «Воспоминаниях», – что идеология защиты прав человека – это та единствен-

ная основа, которая может объединить людей вне зависимости от их национальности, политических убеждений, религии, положения в обществе...»

Ну да, вот бы и нам взять защиту прав человека в качестве национальной идеи! Что может быть лучше?

### **Главная цель – счастливая, полная смысла жизнь**

Забегая вперед, скажу, что и в своем проекте конституции Андрей Дмитриевич на первое место поставил человека, его права. Этот проект, правда, незавершенный, Сахаров представил в ноябре 1989 года, за месяц до своей кончины. Назывался он «Проект Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии».

Этот текст был не очень привычен для глаза как юридический документ. Вместе с тем при чтении его с самого нача-



ла становилось ясно, что он составлен в высшей степени благородным и высоконравственным человеком, для которого благородство, нравственность – высшие ценности.

«Цель народа Союза Советских Республик Европы и Азии и его органов власти, – говорилось в проекте, – счастливая, полная смысла жизнь, свобода материальная и духовная, благосостояние, мир и безопасность для граждан страны, для всех людей на Земле независимо от их расы, национальности, пола, возраста и социального положения».

Право людей на счастье, на счастливую, полную смысла жизнь... Вряд ли авторы каких-либо других подобных документов когда-либо осмеливались включать в них такого рода категории – «счастье», «полная смысла жизнь»...

Хотя в стране к тому времени все более четко обозначался вектор движения к рыночному, то есть, в общем-то, капиталистическому устройству экономики, Сахаров в своем проекте остается верен давней своей идее конвергенции – со-

единения лучшего, что есть в социализме и капитализме, ибо по-прежнему, видимо, уверен, что ни тот, ни другой строй по отдельности не в состоянии решить наиболее значительные, жизненно важные проблемы человечества:

«В долгосрочной перспективе Союз в лице органов власти и граждан стремится к встречному плюралистическому сближению (конвергенции) социалистической и капиталистической систем как к единственному кардинальному решению глобальных и внутренних проблем. Политическим выражением конвергенции в перспективе должно быть создание Мирового правительства».

Мировое правительство – это то, о чем говорили и мечтали многие лучшие представители человечества, в частности Альберт Эйнштейн. Будет ли оно когда-нибудь? Или это что-то малосбыточное вроде «Города Солнца» Томмазо Кампанеллы? Прообразом мирового правительства в принципе, наверное, можно было бы считать Организацию Объединенных

Наций. Но что-то у нее не больно получается «править миром». И не видно, чтобы когда-нибудь получилось. Слишком разные материки, страны, люди...

На один уровень по степени важности Сахаров ставит внутренние законы страны и международные законодательные акты, прежде всего касающиеся прав человека. Более того, международное законодательство в этой сфере он поднимает выше:

«Граждане и учреждения обязаны действовать в соответствии с законами Союза и республик и ПРИНЦИПАМИ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ООН (выделено мной. – **О.М.**)

Международные законы и соглашения, подписанные СССР и Союзом, в том числе Пакты о правах человека ООН..., имеют на территории Союза прямое действие и приоритет перед законами Союза и республик».

Увы, мы и спустя двадцать пять лет не пришли к этому. Сегодняшние российские власти не уважают не только Всеобщую декларацию прав человека, но и собственную Конституцию.

### **Рукописи не горят. Но их могут украсть**

– А в Горьком, – спрашиваю я Сахарова, – вы что-нибудь писали, кроме научных статей?

– О, семь лет в Горьком не прошли даром, – отвечает за мужа Елена Георгиевна. – Сахаров проделал большую литературную работу – написал большой двухтомник воспоминаний. «Воспоминания» – так это и называется.

– Я долго мучился, как его назвать, но в конце концов назвал кошку кошкой...

– Полторы тысячи страниц... – продолжает Елена Георгиевна. – Ее неоднократно воровали... Эта книга пере-

жила столько... Но все-таки выжила. Вот уж точно по принципу «рукописи не горят». Скоро выйдет. Она уже анонсировалась. Правда, при восстановлении текста он хуже написал, по второму разу. Некоторые части – по третьему...

– Потому что эмоциональная свежесть уже потеряна, – словно бы оправдываясь, говорит Андрей Дмитриевич. – Последний раз, например, девятьсот страниц пропало...

– Девятьсот страниц? – переспрашиваю я ошарашенно. – Как же можно восстановить девятьсот страниц?

Я представляю себе толстенную рукопись, горой возвышающуюся над столом. Второй раз наполнить такую гору бумаги буквами и словами, стараясь – в том же порядке, что и в украденной рукописи (Сахаров пишет от руки, Елена Георгиевна после печатает)? Нет, это невозможно. Это немыслимо.

– Девятьсот страниц... Легко ли? – говорю я. – Ньютон рехнулся, когда у него во время пожара сгорела рукопись.

– Нет, я не рехнулся. Я так считаю, по крайней мере,

– улыбается Сахаров. – Хотя президент Академии наук Александров как-то заявил в интервью журналу «Ньюсуик»... Как там было написано?

– Что Сахаров душевно неуравновешенный, – подсказывает Елена Георгиевна. – Даже сильней.

– Нет, там было как-то по-медицински...

Если быть точным, в интервью «Ньюсуику» Александров сказал, что, по его мнению, поведение Сахарова в последний период его жизни «более всего обусловлено серьезным психическим сдвигом».

– Да, когда украли первую часть рукописи, из дома, украли также диплом Нобелевского лауреата, – продолжает вспоминать Елена Георгиевна. – И шмотки тогда же заодно украли (Елена Георгиевна произносит «шматки»).

– Чтобы создать видимость, что это обычные жулики, – поясняет Андрей Дмитриевич. – Но это были такие вещи, которые даже жуликам не нужны.

– Да, очень интересно, украли рваные шмотки («шматки». – **О.М.**). У Сахарова была такая домашняя

куртка, в которой он сидел за столом...

– Коричневая? – оживляется при этих словах Юра.

– Нет, синяя...

– А я думал коричневая – та, которую я снимал еще в семидесятом...

– Она существует, – заверяет моего приятеля Елена Георгиевна. – А украли синюю. И мамин халат, старый-престарый, ношенный-переношенный. Это была чистая глупость. У них глупостей много было.

– Они много документов украли, – добавляет Андрей Дмитриевич. – Писем.

«Украли рукопись» – это, конечно, некий эвфемизм. «Изъяли». «Изъяли» сотрудники КГБ, неотступно следившие за Сахаровыми все годы горьковской ссылки. И время от времени прямо внедрявшиеся в их жизнь таким вот воровским или еще каким-то подобным образом.

Впрочем, в первый раз кагэбэшники похитили рукопись еще до ссылки, в Москве, 29 ноября 1978 года. Вломившись в квартиру в отсутствие хозяев, они забрали 68

страниц машинописного текста и 170 рукописных страниц.

Второе похищение случилось уже в Горьком 13 марта 1981 года. Из круглосуточно охраняемой квартиры были украдены, как писал потом Сахаров, «три толстых альбома большого формата».

Наконец, третье похищение представляло собой уже целую спецоперацию, какую можно увидеть разве что в кино. Все произошло днем 11 октября 1982 года на площади возле речного вокзала в центре Горького. Елена Георгиевна пошла покупать билет на поезд, а сам академик, ожидая ее, сидел в машине на переднем сиденье. Какой-то человек, заглянув в окно, задал ему какой-то вопрос. Сахаров ответил. После чего, по его словам, в памяти его произошел провал. По-видимому, внутрь машины брызнули из баллончика. Было разбито стекло задней двери и вытащена сумка с документами и рукописями. Когда через несколько минут Сахаров пришел в себя и выбрался из машины, он обнаружил возле нее трех женщин, у одной из которых был баульчик, похожий на медицинский. Надо полагать, это были врачи,



специально приглашенные гэбистами. В задачу их входило при необходимости оказать Сахарову помощь. В данном случае (впрочем, как и в других) КГБ не ставил перед собой цель отправлять ученого на тот свет. На этот раз, опять-таки среди прочего, было украдено, по словам Сахарова, «около 900 страниц не перепечатанной рукописи... охватывающих 60 лет жизни, около 500 страниц машинописного текста воспоминаний, 6 тетрадей личных дневников».

2 января 1991 года, за несколько дней до вильнюсских событий, у меня была довольно продолжительное интервью с тогдашним председателем КГБ, будущим фактическим главой ГКЧП Крючковым. Среди прочего, я напомнил ему об этой истории – о том, что во время пребывания Сахарова в Горьком у него был изъят ряд вещей, документов, рукописей, в том числе сотни страниц двух вариантов рукописи «Воспоминаний». «Как полагаете, – спросил я Крючкова, – не пришла ли пора вернуть все это вдове ученого?» Крючков ответил, что по этому поводу они

неоднократно говорили по телефону с Еленой Георгиевной, она тоже об этом спрашивала. Все, что у них было, ей вернули.

Не знаю, что КГБ вернул Елене Георгиевне, но «Воспоминания» Сахарова были опубликованы по третьему варианту рукописи.

Еще я спросил главу лубянского ведомства, предполагается ли провести хотя бы какое-то служебное расследование, касающееся того, как обращались с этим выдающимся человеком сотрудники горьковского управления КГБ. Ответ Крючкова: «Сотрудники КГБ были исполнителями незаконного решения, которое было принято не КГБ. Сейчас такое немыслимо, а тогда оказалось возможным. Остается только сожалеть об этом...»

При окончательной подготовке текста интервью к публикации, уже в гранках, Крючков вычеркнул слово «незаконного».

Далее в его ответе следовало уточнение: «...Потом наиболее драматичные моменты пребывания А.Д.Сахарова

в Горьком были связаны с двумя его голодовками, к счастью кратковременными. В этот период с ним имели дело не наши сотрудники, а медики, а также работники, осуществлявшие административный надзор».

Эта последняя фраза тоже была вычеркнута Крючковым.

Что касается «к счастью, кратковременных» голодовок Сахарова, они-то и сократили ему жизнь. Думаю, – на немалый срок. И терзали его во время этих голодовок, конечно, не простые медики, а специально обученные, подготовленные к такого рода злодеяниям, даже если они прямо и не состояли на службе в «органах».

Мой заключительный «сахаровский» вопрос к Крючкову: «В последние месяцы жизни А.Д.Сахарова против него возобновились провокации. Что вам известно об этом? Кто был их организатором?» Крючков снова изобразил чистоту и невинность: «Подробности мне неизвестны, но я слышал об этом. В общем-то, это похоже на правду».

Вот так. Председатель КГБ всего лишь «слышал» о

новых провокациях против бывшего горьковского затворника. И он, и я понимаем, что под провокациями прежде всего имеется в виду возобновившаяся слезка. А слезку, разумеется, возобновил КГБ. Крючков начинает выкручиваться: «Сейчас подобные вещи происходят со многими людьми. В частности, возникает проблема безопасности депутатского корпуса. Это непростое дело. За последние полтора года, например, мы получили от депутатов 470 заявлений о том, что им угрожают физической расправой. Причем от депутатов всех уровней. Четырнадцать депутатов были убиты».

Ну да, понятное дело: Андрей Дмитриевич тоже ведь был депутатом, причем самого высокого уровня. Так что и его, видимо, «охраняли».

Впрочем, весь этот кусок текста – насчет антисахаровских провокаций в последние месяцы жизни ученого Крючков тоже вычеркнул, пояснив довольно раздраженно: «У нас с Еленой Георгиевной хорошие отношения. Зачем их портить?»

Надо сказать, во время нашего разговора (он длился три часа), когда по разным поводам возникало имя Сахарова и его супруги, Крючков всякий раз подчеркивал, что у него с Андреем Дмитриевичем были хорошие отношения, такими же они остались и с Еленой Георгиевной.

После я передал эти слова Елене Георгиевне. Она пожала плечами: никаких «добрых отношений» с КГБ у нее никогда не было. В самом деле, смешно говорить о каких-то «добрых отношениях» после всего, что Сахаровы вытерпели от КГБ.

### **Второй заход на улицу Чкалова**

...– Вот и вся биография твоя, – подводит итог нашему многочасовому разговору Елена Георгиевна. – Теперь ты вернулся на круги своя. И куда дальше поедешь?

– Да, сомкнулась цепь времен, – завершает и Сахаров свою краткую автобиографию.

Расставаясь, я подарил хозяину свою книжку о Пауле

Эренфесте («Жажда истины») с надписью: «Андрею Дмитриевичу Сахарову эта повесть о несчастном физике – на добрую память».

– О каком физике? – переспросил он, разбирая надпись.

– О несчастном.

– Да, ведь он покончил с собой...

Андрей Дмитриевич сказал, что он много слышал об Эренфесте от Тамма, когда они жили на «объекте».

– Вечерами мы с ним беседовали обо всем на свете. Жаль, что я тогда не записывал.

В самом конце нашей встречи на улице Чкалова мы попросили Сахаровых не распространяться об этом интервью. На всякий случай. Мало ли что.

На следующий день, однако, западные агентства и газеты раструбили, что «Литературная газета» взяла интервью у Сахарова. Для них это сенсация: впервые советский орган печати собирается предоставить слово опальному академику. Каким образом произошла эта «утечка»? Мы

вроде бы договорились держать нашу встречу в тайне. Андрей Дмитриевич после говорил со смущенным видом, что ему позвонил корреспондент агентства «Рейтер», который спросил, правда ли, что «Литературная газета» взяла у него интервью. Будучи не в силах соврать, Сахаров пробормотал что-то невнятное (как сказала Елена Георгиевна), но этого для корреспондента оказалось достаточно: стреляный воробей. Он передал это как достоверное сообщение, и после все на него ссылались.

Позже «Голос Америки» несколько месяцев напоминал, что «Литературная газета» взяла интервью у Сахарова, но до сих пор не напечатала.

Подготовленный текст интервью мы отдали Юрию Петровичу Изюмову вечером 5 января. Он вернул его на следующий день, кое-что поправив: убрал места, «возвеличивающие», по его мнению, Сахарова — вопрос о том, считает ли он себя великим ученым, ожидает ли, что ему вернут три Золотые звезды и т.д.; вставил возражения на некоторые острые места, добавил два-три вопроса. Мы перепе-

чатали текст (Юрий Петрович просил, чтобы Андрей Дмитриевич не видел правки – чтобы это не вызывало у него никаких отрицательных эмоций), оставили пустые места для ответов и поехали к Сахаровым к часу дня 6 января.

Андрей Дмитриевич был напряжен. Должно быть, волновался: что ему собираются подсунуть? Мы предложили сесть опять на то же место вокруг журнального столика, чтобы он быстро наговорил на диктофон недостающие ответы, но он сказал, что пойдет в другую комнату и напишет там. При этом попросил второй экземпляр текста.

Мы пошли на кухню ждать. Примерно через полчаса он появился и сказал:

– Молодые люди, может быть, вы погуляете часок, а то мне неловко заставлять вас ждать?

– Гоните? – ответил я шутливо, и он смущенно, не зная, что ответить, снова исчез в своей комнате.

Час, однако, шел за часом, а он все не выносил выправленный текст. Впрочем, время от времени появлялся на кухне и опять-таки смущенно просил извинения за за-



держку.

Начали мы свой срок ожидания довольно бодро, не ведая еще, сколько он продлится. Елена Георгиевна приготовила в какой-то немислимой кофеварке хороший кофе. Однако с каждым часом настроение наше становилось все более кислым: ясно было, что Андрей Дмитриевич, видимо, неудовлетворенный текстом, наново переписывает его.

Когда собирались пить кофе, выяснилось, что у Сахаровых нет хлеба. Мы предложили свои услуги и стали даже одеваться, чтобы сходить в магазин, но Елена Георгиевна от наших услуг отказалась, сказав, что здесь плохая булочная и что в четыре часа приедет Галя Евтушенко и привезет продукты. Она их снабжает продуктами – живет в высотном доме на Котельнической, там хороший магазин.

Мы, однако, досидели почти до шести, снабженица так и не появилась. В шестом часу Елена Георгиевна поставила на плиту какую-то кастрюльку, принялась что-то варить, кажется, кашу, чтобы покормить академика.

Кухонные беседы. Елена Георгиевна сказала, что,

когда она «привела» Андрея Дмитриевича в эту квартиру, он спал вот на этом диванчике на кухне: в квартире проживало человек десять. Принадлежала она матери Елены Георгиевны. Мать у нее тоже старая большевичка, сейчас живет в Бостоне в США. Партбилет сдала на хранение в райком.

У Андрея Дмитриевича есть дача в Жуковке. На даче живет его сын, доставляющий, по словам Елены Георгиевны, Сахаровым немало хлопот. Жуковская милиция неоднократно обращалась к ним по поводу различных его «выходок».

– Сейчас, кажется, работает фотографом. Мы счастливы: может быть, образумится. Он без образования. С детства осознал, что он сын академика.

Еще у Сахарова две дочери (сын – младший из детей). Одна окончила физфак, другая биофак. Когда Андрей Дмитриевич голодал, требуя, чтобы Елену Георгиевну выпустили за границу повидаться с родными и на лечение, дети публично обвинили Елену Георгиевну в подстрекательстве.

тельстве Андрея Дмитриевича к самоубийству. После выяснилось, что средняя дочь ничего не подписывала...

Есть у Сахарова еще младший брат, он очень больной человек. Живет отдельно. Сахаровы предлагали ему переехать к ним, но он отказался: он не может общаться с людьми.

– Так что Андрей Дмитриевич всю жизнь содержит несколько человек. Сейчас вот – сына и брата.

Дети самой Елены Георгиевны – в США. На книжных полках за стеклом – фотографии.

– Вот это наша Лиска (возможно было сказано «Лизка», но мне слышалось более нежное – «Лиска». – **О.М.**). Симпатичная, не правда ли? Из-за нее все тогда и заварилось...

Имелось в виду – «заварилась» первая голодовка Сахарова (в нее включилась и Елена Георгиевна). Началась она 22 ноября 1981 года.

**Ради никому не известной девушки...**

С голодовками Андрея Дмитриевича дело не совсем понятное. Многим непонятное. До поры, до времени оно не было понятно и мне.

«Непонятность» всех трех голодовок связана с теми требованиями, которые выдвигал перед властями Андрей Дмитриевич и выполнения которых пытался добиться при помощи этой крайней меры – «смертельной» голодовки (кстати, эпитет «смертельная» в применении к понятию «голодовка» не очень распространен, чаще говорят либо просто «голодовка», либо «сухая голодовка», без воды, без питья; голодовки Сахарова не были «сухими», но они были «смертельными» в том смысле, что, начиная голодовку, Андрей Дмитриевич готов был идти до конца).

Во время первой голодовки Андрей Дмитриевич требовал, чтобы в Штаты выпустили невесту сына Елены Георгиевны Лизу Алексееву, эту самую Лизку-Лиску. В стране, где уехать кому-то на жительство за границу вообще было жуткой, почти неразрешимой проблемой (по су-

ти, вся страна была «невыездной»), такое требование вызвало едва ли не общее раздражение. Или, по крайней мере, непонимание. Даже у тех, кто не был полностью одурочен гэбистско-пропагандистскими публикациями в советской прессе, не жалевшей сил в обливании помоями супругов Сахаровых, самой Лизы Алексеевой. В лучшем случае, человек, в общих чертах представлявший реальную ситуацию, даже сочувствуя в целом Андрею Дмитриевичу и его близким, здесь испытывал недоумение: великий человек, выдающийся ученый – чья жизнь, как нередко принято говорить, принадлежит всему народу, – рискует этой жизнью даже не то что ради спасения какой-то безвестной девушки... а просто ради того, чтобы эта девушка могла выехать куда-то из страны.

В своих «Воспоминаниях» Андрей Дмитриевич исчерпывающим образом объяснил, в чем состояла трагедия Лизы Алексеевой, как беспощадно КГБ измывался над ней и почему он и Елена Георгиевна, исчерпав все другие средства защиты несчастной девушки, решились пойти на

крайнюю меру – голодовку.

Вот лишь некоторые эпизоды злключения и страданий Лизы, как о них пишет Сахаров:

«Алеша (сын Елены Георгиевны, жених Лизы. – **О.М.**) уехал 1 марта 1978 года. С мая Лиза жила в нашей семье, стала ее членом. Почти немедленно начались трудности. Весной ее по надуманному предлогу не допустили к госэкзаменам (в институте. – **О.М.**), не дав тем самым формально закончить образование и получить диплом. В июле следующего года, явно по указанию, уволили из вычислительного центра, где она работала оператором и была на хорошем счету. В дальнейшем, особенно после моей высылки, трудности и опасность ее положения увеличивались. Попытки добиться ее относительно быстрого выезда, как у многих других внешне в аналогичном положении, – не удались...

На протяжении этой книги я много писал о нарушениях в СССР права на свободный выбор страны проживания, о тех трагедиях, к которым это приводит. В случае Лизы все многократно усиливалось ее связью со мной – фактически

Лиза Алексеева стала заложником моей общественной деятельности».

«В эти дни (весной 1979 года. – **О.М.**) Лиза совершила суицидную попытку. Она приняла смертельную дозу попавшего ей на глаза лекарства. К счастью, Люся (Елена Георгиевна. – **О.М.**) заметила ее необычно «заторможенное» состояние, вызвала «скорую», и Лизу удалось спасти... Я рассказываю здесь об этом, так как в этом деле особенно наглядно проявилась заинтересованность КГБ в Лизиной судьбе и так как оно имело влияние на последующие события и, как я думаю, на планы КГБ».

«Между тем Лизино положение продолжало обостряться. До мая 1980 года Лиза свободно ездила ко мне в Горький (с Люсей или с Руфью Григорьевной). Но 16 мая, когда они вместе с Руфью Григорьевной поехали на мой день рождения, ее не пустили. Когда она отошла от Руфи Григорьевны, чтобы купить сигарет, мужчины в штатском схватили ее и затащили в комнату железнодорожной милиции – она даже не успела крикнуть. Это, конечно, были гэбисты. Они заявили ей: «Вы

знаете, кто мы. Мы слов на ветер не бросаем. Вам запрещается ездить в Горький. Вы не должны жить на улице Чкалова, должны вернуться к родителям!» [Последнее при сложившихся отношениях (Лизы с ее родителями, «патриотически» настроенными советскими гражданами. – **О.М.**) было исключено.] Через несколько дней Лизу вызвали в КГБ... и сделали официальное предупреждение об уголовной ответственности по статье 190.1 в случае продолжения ею ее деятельности... (Статья Уголовного кодекса РСФСР 190.1 предусматривала ответственность за «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». – **О.М.**)

В дальнейшем угрозы в отношении Лизы много раз повторялись, и мы не могли думать, что это только пустые слова. Однажды при поездке Лизы вместе с Люсей в Ленинград они с Наташей Гессе пошли на рынок. Там к Лизе подошли несколько гебистов, и один из них заявил: «Убьем».

Летом 1980 года я послал телеграмму на имя Брежнева, где просил о разрешении Лизе на выезд к любимому челове-



ку, жениху, и подчеркивал, что все, что происходит с нею, — это заложничество, связанное с моей общественной деятельностью.

В августе я обратился с большим, подробным письмом к заместителю президента Академии академику Евгению Павловичу Велихову, в его лице к президенту и президиума Академии наук. Два месяца Велихов ничего не отвечал на мое письмо и на повторные телеграммы, потом 14 октября прислал телеграмму такого содержания (привожу по памяти): «Мною принимаются меры для выяснения возможностей выполнения Вашей просьбы. По получении результатов сообщу». После этой телеграммы Велихов никогда ничего не сообщил и никак не реагировал на мои дальнейшие телеграммы и еще два посланных ему письма.

20 октября 1980 года я обратился с большим открытым письмом к президенту АН СССР академику А. П. Александрову... Ответа я не получил.

Летом 1980 года и зимой 1980/81 года Люся со своей стороны обращалась с просьбой о поддержке к различным об-

ществленным и государственным деятелям Запада. Я написал тогда же свое первое письмо канцлеру ФРГ Шмидту.

3 февраля 1981 года я послал большие и подробные письма с настоятельной просьбой о помощи Якову Борисовичу Зельдовичу и Юлию Борисовичу Харитону. Я считал (и считаю), что я в особенности имел моральное право рассчитывать на их помощь – в силу нашей более чем двадцатилетней совместной напряженной работы, а в случае Якова Борисовича Зельдовича и в силу личных дружеских отношений – в деле, которое было столь трагичным, ключевым для меня. Я писал им об этом, подчеркивая, что я прошу у них помощи именно в деле о выезде Лизы и ни в каком другом. Я не получил никакого ответа от Ю. Б. Харитона. Устно мне были переданы его слова, что ответ Якова Борисовича является и его ответом. От Зельдовича же я получил письмо... Яков Борисович писал, что не может выполнить мою просьбу из-за неустойчивости его положения, которая проявляется в том, что его не пускают за границу дальше Венгрии.

Лиза послала свое заявление в ОВИР 20 ноября 1979 года. Через полтора года, в мае 1981 года, ее вызвали в ОВИР и сообщили об отказе...

Через несколько дней Лизу дважды вызывали на допросы, формально по делу Феликса Сереброва (одного из арестованных членов Комиссии по использованию психиатрии в политических целях и Хельсинкской группы), а фактически – чтобы угрожать ей и запугивать. Допросы происходили в очень грубой форме, с криком, чего Лиза совершенно не выносит, и угрозами как ареста, так и физической расправы. Так, один из следователей угрожал выкинуть ее в окно!

После получения Лизой Алексеевой необоснованного отказа и угроз я решил еще раз обратиться к Брежневу... Никакого ответа на это письмо, как и на телеграмму в 1980 году, не было».

«В сентябре 1981 года мы узнали, что в ноябре Л. И. Брежнев поедет в ФРГ для важных переговоров с канцлером Гельмутом Шмидтом и другими высшими руководителями ФРГ. К этому времени мы уже окончательно пришли к мыс-

ли, что никакого другого способа добиться выезда Лизы к мужу (их брак уже был оформлен в США, заочно. – **О.М.**), кроме голодовки, реально не существует (дальнейший ход событий только подтвердил это). Поездка Брежнева за рубеж создавала психологические и политические условия, при которых голодовка имела наибольшие шансы на успех. Нам обоим было ясно, что такой случай больше может не повториться. Очень существенно было также, что наши предыдущие двухлетние усилия – письма, документы и обращения – тоже не только показали свою недостаточность, но и сделали Лизино дело достаточно широко известным; наше решение о голодовке в этих условиях не выглядело как сумасбродство и понималось очень многими (не всеми, конечно) как вынужденное и единственно возможное».

Наконец в «Воспоминаниях» Андрей Дмитриевич вступает в прямую полемику с теми, кто настаивал на недопустимости и бессмысленности этой голодовки, с требованием выпустить Лизу Алексееву в США:

«Постараюсь сформулировать возражения оппонентов голодовки, – пишет он. – Очень многие – в их числе Григоренко (известный правозащитник генерал Григоренко. – **О.М.**)... и другие – считали, что я в силу своего особого положения в правозащитном движении (у других это была наука, или защита мира, или еще что-то столь же общее и «великое») не имею права рисковать своей жизнью, идти на почти неминуемую гибель ради столь незначительной цели, как судьба моей невестки. Потом в сатирической форме эту мысль отразил в одном из своих произведений Зиновьев (ученый, писатель, высланный из СССР. – **О.М.**) Григоренко писал о репрессиях на Украине – действительно ужасных – и завершал свое письмо категорически: «Вы совершили большую ошибку и должны ее исправить, прекратив голодовку». Пименов (математик, историк, диссидент. – **О.М.**) в особенности делал упор на то, что семейное, личное счастье (Алеши и Лизы; он писал – «счастье – мученье... ссориться, мириться, валяться в постели...») не может быть куплено ценой «страданий великого человека» (то есть моих). Кроме того, у Пименова была со-

всем странная идея, что победа над властями никогда не бывает бесплатной – всегда потом они в чем-либо берут реванш. Как пишет Пименов, «в полицейских делах действует своего рода закон сохранения». Объясняя этот тезис, он пишет, что за уступкой, когда Брежнев отпустил Буковского (Пименов в посланном по почте письме вместо указания фамилии цитирует несколько слов из стишка «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана. Где б найти такую б..., чтоб на Брежнева сменить»), вскоре был взят реванш Орловым и Щаранским. Первая часть аргументации носит общий характер, ответ на нее я попытаюсь дать чуть дальше или вообще ответа не требуется, а относительно «закона сохранения» – если бы дело обстояло так, то любая борьба с беззаконием ВСЕГДА была бы вредной. Мне кажется, что жизнь по своим причинным связям так сложна, что прагматические критерии часто бесполезны и остаются – моральные. Потом, уже много после голодовки, Пименов признал, что он был неправ в своих возражениях!

Особенно было плохо то, что многие наши друзья-диссиденты направили свой натиск на Лизу – и до начала голо-

довки, и даже когда мы ее уже начали, заперев двери в буквальном и переносном смысле. Лиза, якобы, ДОЛЖНА предотвратить или (потом) остановить голодовку, ведущуюся «ради нее»! Это давление на Лизу было крайне жестоким и крайне несправедливым. Должно было быть ясно, что Лиза никак не влияла на наши решения и не могла повлиять. Что же касается того, что голодовка велась ради Лизы (и Алеши), то и это верно только в очень ограниченном смысле. С более широкой точки зрения голодовка была необходимым следствием нашей жизни и жизненной позиции, продолжением моей борьбы за права человека, за право свободы выбора страны проживания – причем, и это очень существенно, в деле, за которое с самого его возникновения и я, и Люся несем личную ответственность. Вот, собственно, я и ответил сразу всем своим оппонентам. Я свободно принял решение о голодовке в защиту Буковского и других политзаключенных в 1974 году – тогда мало кто возражал. Сейчас наши основания к голодовке были еще более настоятельными, категорическими. Еще несколько замечаний. В возражениях некоторых оп-

понентов я вижу нечто вроде «культы личности», быть может, правильнее будет сказать – потребительское отношение. Гипертрофируется мое возможное значение, при этом я рассматриваюсь только как средство решения каких-то задач, скажем правозащитных. Бросается также в глаза, что оппоненты обычно говорят только обо мне, как бы забывая про Люсю. А ведь мы с Люсей голодали оба, рисковали оба, оба не очень здоровые, немолодые, еще неизвестно, кому труднее. Решение наше мы приняли как свободные люди, вполне понимая его серьезность, и мы оба несли за него ответственность, и только мы. В каком-то смысле это было наше личное, интимное дело. Наконец, последнее, что я хочу сказать. Я начал голодовку, находясь «на дне» горьковской ссылки. Мне кажется, что в этих условиях особенно нужна и ценна победа. И вообще-то победы так редки, ценить надо каждую!»

Вот такое обоснование этой «необоснованной» и «бессмысленной» голодовки. Дело, однако, в том, что «Воспоминания» Сахарова были опубликованы лишь годы спустя после самих событий. И все это время, до их публикации,



многие так и пребывали в недоумении по поводу той голодовки.

Как бы то ни было, по мере того как информация о голодовке Сахарова, после ее начала, распространялась, в мире нарастала волна протестов против твердолобой позиции советских властей, побуждавшей ученого прибегать к такой крайней мере. Пошла волна телеграмм, – естественно, главным образом из-за рубежа – с требованием не допустить гибели всемирно известного физика, правозащитника. Они ложились на стол президента Академии наук Александра, попадая к нему, так сказать, «по ведомственной принадлежности». С требованием что-то сделать, предпринять какие-то шаги ради спасения Сахарова выступали и некоторые члены Академии. Но что мог сделать академический президент?

Тем не менее, после немалых колебаний, Александров все же нашел в себе силы напрямую обратиться Брежневу. Лизе дано было разрешение на выезд.

Сахаров, точнее Сахаровы, одержали победу и могли

прекратить голодовку. Она продлилась тринадцать дней, с 22 ноября по 9 декабря 1981 года.

### **На этот раз – ради жены...**

Следующую смертельную голодовку Сахаров начал 2 мая 1984 года. На этот раз он требовал выпустить в США Елену Георгиевну – «для свидания с матерью, детьми и внуками и для лечения». Именно в таком порядке: на первое место ставилось свидание с близкими и только на второе – лечение. Именно это вызывало раздражение у многих: ну, да, конечно, человек имеет право время от времени видиться с матерью, детьми, внуками, с которыми он разлучен, тем более, что неровен час, это может быть последнее их свидание, но – ради этого опять затевать «смертельную» голодовку, снова ставить на кон свою жизнь?! Однако Андрей Дмитриевич раз от разу, в разных своих посланиях, сохранял именно такой порядок своих требований, как бы подчеркивая, что важнее.

На самом деле, – по крайней мере, на мой взгляд, – важнее была все-таки ситуация со здоровьем Елены Георгиевны. И успеха в реализации выдвигаемых требований, наверное, скорее можно было бы добиться, поменяв эти требования местами. Но вот Андрей Дмитриевич считал иначе, – как можно предположить, следуя логике: право на свидание с близкими – общее требование, касающееся всех граждан страны, второе же требование, хоть и важное, но как бы частное.

Между тем, ситуация со здоровьем Елены Георгиевны была действительно тяжелая, критически тяжелая. Состояние ее сердца, зрения была такова, что помочь ей, – а, вероятно, и спасти ей жизнь (если говорить о сердце, уже пораженном к этому времени тяжелым инфарктом), – могли только зарубежные медики. При этом следовало учитывать не только уровень медицины, но и то обстоятельство, что Сахаровы пребывали под бдительным оком КГБ. Поэтому, когда Сахарову говорили – мол, в таком же положении находятся все советские люди, страдающие разнообразными недугами, он отве-

чал: нет, у Люси (так звали Елену Георгиевну близкие) «выделенное» положение – ее здоровье, да и сама жизнь, находятся в руках «органов», «под их контролем» («Требование дать Е.Г. лечиться за рубежом, – не каприз, – говорится в одном из писем Сахарова, – ее положение выделено из 270 млн. ... граждан СССР ненавистью к ней КГБ»).

Сам Андрей Дмитриевич, – видимо, оглядываясь на опыт первой, 1981 года, голодовки, – был уверен, что он и на этот раз одержит победу, однако его коллеги из ФИАНа, поддерживавшие с ним связь, по крайней мере, наиболее осведомленные из них, смотрели на дело более скептически, пытались его отговорить, объясняя бессмысленность и безнадежность этой, очередной голодовки, но он не поддавался уговорам.

На этот раз сотрудники «органов», в белых халатах и без оных, вели себя по отношению к великому ученому просто зверски, подвергая насильственному кормлению (которое

в ряде случаев, по международным нормам, приравнивается к пыткам).

Никакие международные протесты, еще более интенсивные, чем три года назад, не помогали. Впрочем, что делали с Сахаровым в Горьковской областной клинической больнице, куда его насильно поместили, в тот момент никто из протестующих не знал. Известно это стало лишь примерно год спустя.

Эту вторую голодовку Сахаров начал 2 мая 1984 года, увидев, как в горьковском аэропорту КГБ задержал Елену Георгиевну, не позволив ей вылететь в Москву. Против нее было сфабриковано дело по той же самой, что и против Лизы Алексеевой, статье 190.1 УК РСФСР («Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный строй»), закончившееся приговором к пяти годам ссылки. Местом ссылки был оставлен Горький, так что тут «вершители правосудия» как бы проявили гуманность, но вы-

езжать из города, не только в США, но и вообще куда-либо было, естественно, запрещено.

Еще до приговора супруги Сахаровы были разлучены друг с другом. 7 мая гэбисты схватили Андрея Дмитриевича, продолжавшего голодовку, и насильно затолкали в областную больницу, где и начались издевательства над ним, продолжавшиеся четыре месяца.

Способы принудительного кормления применялись разные. Один другого мучительнее. Андрей Дмитриевич подробно описывает их в письме Александрову.

27 мая измученный «врачами» Андрей Дмитриевич фактически прекратил голодовку. Правда, при этом, страдая от того, что «предал» Елену Георгиевну, решил через некоторое время, в июле или августе, возобновить ее. Долго не находил в себе силы для этого. Наконец наметил для себя как бы точный срок – 7 сентября (напомню, все это время он по-прежнему пребывал «под надзором» того же Обухова). Но... Так и не возобновил голодовку: перевесило желание увидеть наконец

жену, с которой они не виделись четыре месяца, и все это время ничего не знали друг о друге. 8 сентября его срочно выписали из больницы.

В общем, Обухов и К<sup>о</sup> выполнили порученную им миссию.

Фиановцы, приехавшие к Сахарову в ноябре, увидели перед собой весьма постаревшего человека. К тому же сильно раздосадованного и угнетенного своей «капитуляцией». Борис Болотовский, участвовавший в той поездке вместе с Ефимом Фрадкиным, вспоминает:

«...Рассказывая нам об этом (о прекращении голодовки. – **О.М.**), он не мог себе простить, что принял такое решение.

Он говорил:

– Я предал Люсю. Теперь она будет болеть и здесь ей никто не поможет.

И он был безутешен.

Я сказал, что голодовка – это форма протеста, а не самоубийства, что если бы он не прекратил голодовку, то мог бы погибнуть. И Ефим с этими моими словами согласился. А Андрей Дмитриевич не согласился. Он ничего не сказал, промолчал, но было видно, что он не согласен. И я понял, что он намерен повторить голодовку и на этот раз не уступит, будет голодать до победы или до смерти».

А Елена Георгиевна сказала:

– Он у нас счастливчик. Один раз объявил голодовку и добился того, что Лизу выпустили. Второй раз объявил голодовку (она сказала, по какому поводу, но я уже забыл. – **Б. М.**) и тоже добился своего. А здесь нашла коса на камень...»

В это месте немножко царапает слух слово «счастливчик» (точно ли Борис Михайлович передает его?) Какое уж тут «счастье» – эти голодовки, хоть и «победные»! Они сильно подорвали Андрею Дмитриевичу здоровье, сильно сократили ему жизнь.



Кстати, некоторые любят злорадно упираться на то, что сама-то Елена Георгиевна, ради которой Андрей Дмитриевич голодал, пережила своего супруга почти на двадцать два года. Ну так что ж тут злорадствовать! Наверное, Сахаров сознательно шел на самопожертвование, чтобы сохранить и по возможности продлить жизнь любимой женщины. Тут не злорадствовать надо, а снять перед ним шляпу. Другое дело, всегда ли и все ли голодовки были оправданны, особенно учитывая те зверства, которым человека при них подвергали?

В общем, все попытки отговорить Сахарова от новой голодовки оказались столь же безуспешны, как и подобные попытки при прежних его голодовках.

Перед третьей голодовкой он послал уже упомянутое письмо президенту Академии наук Александрову – его передал ему прямо в руки академик Виталий Лазаревич Гинзбург. В этом письме, среди прочего, Андрей Дмитриевич пытался объяснить академическому начальнику, почему он, собственно говоря, вынужден прибегать к голодовке – насколько тяже-

лое положение со здоровьем его супруги – и рассказывал, как с ним обращались в Горьковской областной больнице. Из этого письма люди, прочитавшие его – Гинзбург и другие, – собственно говоря, и узнали впервые о тех пытках, которым он там подвергался.

В письмах – и официальном Александрову и в товарищеском Гинзбургу (я привожу их в приложении) – Андрей Дмитриевич сообщал, что он готов прекратить свою общественную деятельность, «сосредоточиться на науке и семейной жизни». Единственное его желание – чтобы Елене Георгиевне была предоставлена возможность выехать в США. Ее гибель, по словам Андрея Дмитриевича, будет и его гибелью.

Третья голодовка началась 16 апреля 1985 года. КПСС – а, стало быть, и страну в целом, – возглавил Горбачев. Сейчас, оглядываясь назад, мы понимаем, что с приходом Михаила Сергеевича для Сахарова затеплилась надежда на спасение. Но в тот момент, конечно, никто не мог этого предвидеть: что тот генсек, что этот... Да, говорит вроде бы не совсем обыч-

ные вещи, но ведь это все слова. К тому же и самому Горбачеву еще было не до Сахарова: ему предстояло укрепиться у власти, сломить сопротивление «старпёров»-консерваторов, коммунистических фундаменталистов.

Тем не менее, уже 31 мая в Горький приехал некий высокий чин с Лубянки. Как можно было догадаться, в связи с каким-то указанием генсека. По-видимому, с указанием достаточно абстрактным, стандартно неопределенным, – вроде «разобраться» в деле Сахарова. Особенно торопиться с «разбирательством» гэбисты не собирались. Больничные зверства продолжались.

11 июля, то есть спустя почти три месяца, Андрей Дмитриевич прекратил голодовку и был возвращен «на квартиру». Однако 25 июля он опять возобновил голодовку и снова оказался в том же «лечебном учреждении».

**Выпускать или не выпускать – от чего будет меньший ущерб?**

Но «шевеление» «наверху», касающееся судьбы со- сланного ученого, набирало обороты. Первое из двух заседа- ний горбачевского политбюро «по Сахарову», открывших ему дорогу к свободе, состоялось 29 августа 1985 года. Вот ра- бочая запись этого заседания (она была опубликована в газете «Российские вести» 3 октября 1992 года). В некоторых отно- шениях этот разговор коммунистической «элиты», по-моему, весьма любопытен:

**«Горбачев.** Теперь несколько слов на другую тему. В конце июля с. г. ко мне с письмом обратился небезызвест- ный Сахаров. Он просит дать разрешение на поездку за грани- цу его жены Боннер [так в записи] для лечения и встречи с родственниками (как видим, здесь цели поездки переставлены местами; возможно, Горбачев специально поставил лечение на первое место, чтобы у соратников сразу же не возникло раздражение против Сахарова. – **О.М.**)

**Чебриков** (председатель КГБ). Это старая история. Она тянется вот уже 20 лет. В течение этого времени возникали разные ситуации.

Применялись соответствующие меры как в отношении самого Сахарова, так и Боннер. Но за все эти годы не было допущено таких действий, которые нарушали бы законность. Это очень важный момент, который следует подчеркнуть.

Сейчас Сахарову 65 лет, Боннер – 63 года. Здоровьем Сахаров не блещет. Сейчас он проходит онкологическое обследование, так как стал худеть (забавно: «стал худеть»); председатель КГБ как бы ничего не знает о голодовках Сахарова, из-за которых он «стал худеть»? – **О.М.**)

Что касается Сахарова, то он как политическая фигура фактически потерял свое лицо и ничего нового в последнее время не говорит (а как человек может говорить, если ему заткнули рот? – **О.М.**) Возможно, следовало бы отпустить Боннер на 3 месяца за границу. По существующему у нас за-

кону можно на определенный срок прервать пребывание в ссылке (а Боннер, как известно, находится в ссылке). Конечно, попав на Запад, она может сделать там заявление, получить какую-нибудь премию и т. д. Не исключено также, что из Италии, куда она собирается поехать на лечение, она может поехать и в США. Разрешение Боннер на поездку за границу выглядело бы гуманным шагом.

Возможны два варианта дальнейшего ее поведения. Первый – она возвращается в Горький. Второй – она остается за границей и начинает ставить вопрос о воссоединении семьи, то есть о том, чтобы Сахарову было дано разрешение на выезд. В этом случае могут последовать обращения государственных деятелей западных стран, да и некоторых представителей коммунистических партий. Но мы Сахарова не можем выпустить за границу. Минсредмаш против этого возражает, поскольку Сахаров в деталях знает весь путь развития наших атомных вооружений.

По мнению специалистов, если Сахарову дать лабораторию, то он может продолжить работу в области военных исследований. Поведение Сахарова складывается под влиянием Боннер.

**Горбачев.** Вот что такое сионизм (! – О.М.)

**Чебриков.** Боннер влияет на него на все 100 процентов. Мы рассчитываем на то, что без нее его поведение может измениться. У него две дочери и один сын от первого брака. Они ведут себя хорошо и могут оказать определенное влияние на отца.

**Горбачев.** Нельзя ли сделать так, чтобы Сахаров в своем письме заявил, что он понимает, что не может выехать за границу? Нельзя ли у него взять такое заявление?

**Чебриков.** Представляется, что решать этот вопрос нужно сейчас. Если мы примем решение накануне или после Ваших встреч с Миттераном и Рейганом, то это будет истолковано как уступка с нашей стороны, что нежелательно.

**Горбачев.** Да, решение нужно принимать.

**Зимянин** (секретарь ЦК). Можно не сомневаться, что на Западе Боннер будет использована против нас. Но отпор ее попыткам сослаться на воссоединение с семьей может быть дан силами наших ученых, которые могли бы выступить с соответствующими заявлениями. Тов. Славский (напомню, министр среднего машиностроения. – **О.М.**) прав – выпускать Сахарова за границу мы не можем. А от Боннер никакой порядочности ожидать нельзя. Это – зверюга в юбке, ставленница империализма (! – **О.М.**)

**Горбачев.** Где мы получим большие издержки – разрешив выезд Боннер за границу или не допустив этого?

**Шеварднадзе** (министр иностранных дел. – **О.М.**) Конечно, есть серьезные сомнения по поводу разрешения Боннер на выезд за границу. Но все же мы получим от этого политический выигрыш. Решение нужно принимать сейчас.



**Долгих** (секретарь ЦК). Нельзя ли на Сахарова повлиять?

**Рыжков** (секретарь ЦК). Я за то, чтобы отпустить Боннер за границу. Это – гуманный шаг. Если она там останется, то, конечно, будет шум. Но и у нас появится возможность влияния на Сахарова. Ведь сейчас он даже убегает в больницу для того, чтобы почувствовать себя свободнее (это их так КГБ информирует? – **О.М.**)

**Соколов** (министр обороны). Мне кажется, что эту акцию нужно сделать, хуже для нас не будет.

**Кузнецов** (первый заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР). Случай сложный. Если мы не разрешим поехать Боннер на лечение, то это может быть использовано в пропаганде против нас.

**Алиев** (первый заместитель председателя Совета министров СССР). Однозначный ответ на рассматриваемый вопрос дать трудно. Сейчас Боннер находится под контролем.

Злобы у нее за последние годы прибавилось. Всю ее она выльет, очутившись на Западе. Буржуазная пропаганда будет иметь конкретное лицо для проведения разного рода пресс-конференций и других антисоветских акций. Положение осложнится, если Сахаров поставит вопрос о выезде к жене. Так что элемент риска тут есть. Но давайте рисковать.

**Демичев** (министр культуры). Прежде всего я думаю о встречах т. Горбачева М. С. с Миттераном и Рейганом. Если отпустить Боннер за границу до этого, то на Западе будет поднята шумная антисоветская кампания. Так что сделать это, наверное, лучше будет после визитов.

**Капитонов** (секретарь ЦК). Если выпустим Боннер, то история затянется надолго. У нее появится ссылка на воссоединение с семьей.

**Горбачев**. Может быть, поступим так: подтвердим факт получения письма, скажем, что на него было обращено внимание и даны соответствующие поручения. Надо дать по-

нять, что мы, мол, можем пойти навстречу просьбе о выезде Боннер, но все будет зависеть от того, как будет вести себя сам Сахаров, а также от того, что будет делать за рубежом Боннер. Пока целесообразно ограничиться этим».

Как видим, голосов «против» почти нет. Дело «в принципе» вроде бы решено. Жена Сахарова хоть и «зверюга в юбке, ставленница империализма», но выпустить ее за границу более выигрышно, чем не выпускать.

5 сентября в Горький приехал тот же гэбистский чин. На этот раз он был – сама любезность. Можно было догадаться, что «наверху» принято (или почти принято) решение, благоприятное для супругов Сахаровых. Так или иначе, Елене Георгиевне вскоре действительно дали разрешение на поездку.

Из больницы, после очередной голодовки, Сахаров вернулся еще более состарившимся, весьма болезненного вида человеком.

## **Горбачев: «Все старое надо закрыть»**

Второе, решающее, заседание политбюро, где разговор шел уже не о поездке за границу, а об освобождении Сахаровых, состоялось более чем через год после первого, 1 декабря 1986 года. Толчком для него послужило письмо Сахарова Горбачеву от 22 октября, в котором он просил разрешить ему и Елене Георгиевне вернуться в Москву. Далее события пошли уже стремительно.

Вот запись этого заседания (она была опубликована в газете «Сегодня» 8 февраля 1994 года). На этот раз фамилию Боннэр называли (или просто записали) уже правильно:

**«Горбачев.** Теперь о Сахарове и Боннэр. У меня есть такой документ (зачитывает письмо Сахарова от 22 октября). Видно, голова у него соображает (! – **О.М.**) и вроде бы в

интересах страны. Этот момент меня больше всего заинтересовал. Давайте попробуем. (Зачитывает дальше.)

Он хочет вернуться в Москву. Надо воспользоваться этим и поговорить с ним. Обеспечить квартирой здесь.

**Лигачев** (секретарь ЦК). Может быть, для начала пусть к нему поедет Марчук (напомню, президент Академии наук, сменивший Александрова. – **О. М.**)?

**Горбачев.** Да, надо послать т. Марчука к нему и сказать, что академики поговорили с советским руководством и оно поручило переговорить с ним, чтобы он включился в нормальную жизнь (какова формулировка! – **О.М.**) Сказать, что все старое надо закрыть, страна включилась в огромную созидательную работу. Спросите, как он смотрит на то, чтобы свои знания, энергию отдать служению Родине, народу.

**Громыко** (председатель Президиума Верховного Совета СССР). Это хорошо, принципиально.

**Горбачев.** Если есть движение души, надо использовать. Как, Виктор Михайлович, не возникает осложнений?

**Чебриков.** Будем работать. Насчет квартиры. По улице Чкалова у него имеется хорошая двухкомнатная квартира. Они жили там вдвоем. Она полностью оборудована. Вторая квартира есть, где он жил с первой супругой. Это – четырехкомнатная квартира. Там первое время жили дети, потом они съехали. Но Боннэр там не хочет жить.

**Горбачев.** Ну, это их дело.

**Чебриков.** В Жуковке есть дача, где живут академики – Александров, Зельдович и другие атомщики. Там есть дача, которая построена государством. Она также свободная. Так что квартирный вопрос решен.

**Горбачев.** Так и сказать ему: квартира за Вами сохранена, дача тоже. Если у Вас есть какие-то другие вопросы, – пожалуйста. Но давайте включайтесь в работу. Вся страна сейчас энергично работает, и Вы тоже должны включиться.

**Чебриков.** Но он сказал в одном из писем: я обязуюсь вести себя лучше, но не смогу молчать тогда, когда нельзя будет молчать.

**Горбачев.** Пусть и говорит. Если же будет выступать против народа (! – О.М.), то и расхлебывает пусть сам. Как, товарищи, не возникает ни у кого никаких вопросов в связи с этим?

**Члены политбюро.** Это даст нам выигрыш.

**Горбачев.** Тогда поручим т.т. Лигачеву и Чебрикову пригласить академика Марчука и сказать, чтобы он действовал.

**Чебриков.** Но надо и указ Президиума Верховного Совета СССР по этому вопросу принять.

**Горбачев.** Да. Может быть, мы сейчас импровизируем, но Вы вместе с т. Лигачевым проработайте этот вопрос, а потом пригласите т. Марчука и скажите ему все, что нужно

сделать. Если бы мы раньше поговорили с Сахаровым, то может быть, и не было бы такой ситуации. В общем, надо его приглашать.

**Члены политбюро.** Правильно.

**Горбачев.** Пусть едут корреспонденты, пусть разговаривают.

**Чебриков.** У нас есть некоторый опыт работы с ними.

**Громыко.** Только не допускать такую тематику, которая нежелательна.

**Чебриков.** Должен сказать, что у нас не было повода, чтобы привлечь Сахарова за разглашение тайны. Он это понимает.

**Горбачев.** Виктор Михайлович, надо сказать т. Марчуку, что все нужно сделать так, чтобы это не было неожиданностью для общественности. Может быть, следует



собрать Президиум Академии наук и сказать об этом. Пусть т. Марчук расскажет, что был в ЦК и беседовал по этому вопросу. А то получается, что ученые в свое время высказались за его (Сахарова. – **О.М.**) выезд из Москвы, а теперь их даже не поставят в известность о другом подходе к этому вопросу.

**Громыко.** Я думаю, что ученые поступят правильно.

**Горбачев.** Тогда на этом закончим?

**Члены политбюро.** Да.

Постановление принимается».

Вскоре после этого заседания к Сахарову съездил академик Марчук. Он прилежно выполнил данное ему задание. А 16 декабря в горьковской квартире Сахаровых раздался тот самый освобождающий звонок генсека.

## **Разговоры на кухне**

Пока сидели на кухне в ожидании, когда Андрей Дмитриевич закончит правку интервью, позвонила международная.

– Тель-Авив? Ну, давайте Тель-Авив! – шутливо, по-простецки сказала Елена Георгиевна (тогда Сахаровым отовсюду звонили). И минут десять разговаривала с какой-то женщиной, то ли матерью зятя, то ли еще чьей-то матерью. Обычный женский разговор о том, о сем.

Общее состояние Елены Георгиевны в те дни (на сторонний, конечно, взгляд) – эйфория.

Сахаровым предлагают академическую жилплощадь на Профсоюзной, неподалеку от ФИАНа: две сдвоенные квартиры. Они колеблются: Елене Георгиевне не хочется уезжать из старого московского района; к тому же – простор из окна, в Горьком жили на первом этаже, никакого вида. (В письме приятельнице Елена Георгиевна как-то привела стишок, написанный по этому поводу: «Из московского окна площадь Красная видна, а из этого окошка

только улица немножко, только мусор и говно, лучше не смотреть в окно. И гуляют топтуны – представители страны»).

Можно, конечно, похлопотать, чтобы дали квартиру где-то в этих, прежних местах, но для Андрея Дмитриевича нож острый куда-то идти и о чем-то просить для себя.

Выяснилось даже, что и здесь у него какие-то трудности с пропиской (Андрей Дмитриевич ходил в домоуправление): он не выписался в Горьком, поэтому его здесь не прописывают. Напрасно он говорил, что в 1980-м, когда его высылали, он не выписывался из Москвы: в Горьком ему поставили в паспорт фальшивую печать о выписке. Сказали, что выписка делается автоматически, если человек полгода не живет в квартире.

На это Юра вполне логично посоветовал подождать полгода, пока их выпишут в Горьком, я же сказал, чтобы они просто-напросто позвонили какому-нибудь начальству – в ГУВД или в Моссовет: фамилия «Сахаров» произведет должное действие...

В конце концов дело с пропиской решилось. А с улучшением жилищных условий дело завершилось тем, что Сахарову дали еще одну двухкомнатную квартиру в этом же доме этажом ниже — под кабинет (именно там он и умер).

По словам супруги, Андрей Дмитриевич не любит работать за столом (стола у него, по-моему, и нет). Обычно он ходит по квартире, смотрит в окно и т.д. Может выйти из туалета, забыв застегнуть штаны: осенила какая-то идея. Любит мыть посуду. Пробовали отучить его от этого дела, но он сердится: «Когда я мою посуду, то думаю». Сам стирает себе рубашки: привычка, сложившаяся во время жизни «на объекте».

Для меня тут нет ничего удивительного: я, правда, свои рубашки не стираю, но мыть посуду тоже люблю. Однако Юра, когда Елена Георгиевна вышла, шутливо-презрительно посмотрел на плиту, залитую кофе, и сказал:

— Та-ак. Все ясно. Академик сам себе стирает рубашки.

Насчет сахаровского мытья посуды есть забавная зарисовка Дмитрия Чернавского в сборнике «Он между нами жил...» Дело происходит в Горьком во время одного из посещений Сахарова коллегами по ФИАНу:

«После завтрака мыли и убрали посуду, в основном это делали мужчины. Елена Георгиевна присутствовала, но была нездорова и ей трудно было нагибаться.

Ритуал уборки посуды в доме Сахарова особый, это я понял еще в предыдущий визит. Сахаров в Горьком был один. Тогда это выглядело так – А.Д. сказал: «Люсенька, уезжая, оставила записку, что делать и куда что ставить; мы сейчас так и сделаем... Эту тарелку нужно вытереть (взгляд в записку) – вот этой тряпочкой. Эту кастрюльку нужно поставить... (снова в записку) – вот на это место.

На этот раз записки не было, но была сама Люсенька. Убирая, мы снова заговорили о науке, и Сахаров поставил кастрюльку «не на то место». В тот же момент последовало «замечание», не громко, но резко, жестко, повелительно: «Ан-

дрей, ты снова кастрюлю не туда поставил!» И ответ Андрея Дмитриевича: «Люсенька, не сердись, я немного заговорился, сейчас я переставлю». Еще более трогательным был его взгляд, виноватый, робкий, просительный и полный любви.

Да, Господь наградил А.Д. даром – любить женщину, одну, единственную; любить беззаветно, беспредельно, растворяясь в своей любви и подчиняясь ей. Ответна эта любовь, или безответна, – не так уж важно, ибо «царствие Божие внутри нас». Счастье – так любить – редко кому дается; и обыкновенным людям, лишенным его, даже трудно представить, что это такое. А.Д.Сахарову было дано. Свою первую жену Андрей Дмитриевич любил столь же сильно и преданно, и был с ней счастлив; преждевременную кончину ее переживал очень тяжело (она умерла от рака в сравнительно раннем возрасте).

Когда с кастрюлькой было покончено, мы занялись наукой. Напряжение исчезло, А.Д. снова стал властителем

Вселенной, уверенным в мощи интеллекта, способного все охватить».

Наш разговор на Чкалова, пока Сахаров читает и правит текст, продолжается.

– Он у меня дремучий, – говорит Елена Георгиевна, – нигде не был, кроме «объекта». Как-то были знакомые. Когда они узнали, что Андрей Дмитриевич не был даже в Ленинграде, они потребовали, чтобы кто-нибудь немедленно поехал за билетами, чтобы сегодня же отправить Сахарова в Ленинград. Тогда ничего не получилось, а после Андрей Дмитриевич съездил в Ленинград на один день на какую-то конференцию.

За три года, прошедших со времени нашего разговора, до своей кончины, Сахаров восполнил этот пробел – объездил полстраны и полмира.

– Вы не знаете, в продаже есть бумага для пишущих машинок? – спрашивает Елена Георгиевна.

Разговор, как и подобает кухонным разговорам, воль-

но перескакивает с одной темы на другую.

Не знаем, никогда не покупали. Бумагой нас обеспечивает редакция.

Еще вопрос:

– Дети собираются подарить нам видеосистему. В Москве можно достать приличные видеокассеты?

– Это смотря что подразумевать под словом «приличные».

– Ну, киноклассику.

Тоже не знаем, у нас нет видеомагнитофонов. Это жуткий дефицит. Как и все остальное. Впрочем, Юра объясняет, какую систему надо покупать, чтобы удобнее было здесь пользоваться, – «Секам».

Елена Георгиевна показывает нам фотографии в какой-то изданной на Западе книге: она с Маргарет Тэтчер, она с Жаком Шираком...

– Какого вы мнения о Тэтчер?

– О, это необыкновенно обаятельная женщина! У неё была такая великолепная прическа!



– Ну, ей прическу сделать нетрудно: у нее свой парикмахер.

– И все же. А я пришла к ней лохматая. У меня было два дня на пребывание в Лондоне, и я долго терзалась – сходить ли в парикмахерскую или посмотреть город. Потом плюнула и решила побродить по городу.

В Париже Елена Георгиевна встречалась также с Тарковским (это было, кажется, в июне 1986-го). Он тогда вышел из больницы после операции, чувствовал себя хорошо, думал, что поправится. Но врачи знали истинное положение дел: больше они не смогут вызвать у него ремиссию, жить ему осталось самое большее полгода... Так и случилось, он умер в декабре.

Как Андрей Дмитриевич относится к Теллеру («отцу» американской водородной бомбы)?

– С уважением, – говорит Елена Георгиевна. – Он ценит его за независимость суждений. Хотя они по-разному оценивают СОИ, я думаю, им интересно было бы поговорить друг с другом.

С Теллером Сахаров позднее тоже поговорил.

### **За пять часов... пять абзацев**

Просидели мы на сахаровской кухне почти пять часов: приехали в начале второго, а уехали без десяти шесть, в самом конце своего рабочего дня. Переговорили с Еленой Георгиевной обо всем на свете, обсудили все, что только возможно. Под конец пошли в свободную комнату фотографироваться. Юра посадил меня на то место возле окна, где он собирался фотографировать академика, – настроить аппаратуру. Из окна страшно дуло, и я предупредил Юру, что он простудит модель. Он щелкнул меня несколько раз. Потом вдвоем фотографировались перед зеркалом. Дурью маялись.

Когда, наконец, Андрей Дмитриевич вынес текст, над которым работал почти пять часов, с нами чуть дурно не сделалось: за это время он вписал всего-навсего пять небольших абзацев. Мы-то были уверены, что он весь текст

перелопатил.

Потому, клянусь, для меня совершенно непостижимо, как он при такой придирчивости к слову и, соответственно, при такой черепашьей скорости письма трижды восстанавливал по девятьсот, или около того, «украденных» гэбэшниками страниц «Воспоминаний».

Впрочем, может быть, здесь, в интервью, другой текст – по мнению Андрея Дмитриевича, более ответственный.

Как бы то ни было, работа закончена. Ясно, что фотографировать Сахарова опять не удастся: устал академик. Все же Юра попросил позволения щелкнуть два раза, посадил академика на продувное место возле окна и мучил его минут двадцать.

Я уже оделся, надеясь этим ускорить окончание фотосессии, и мы с Еленой Георгиевной беседовали в прихожей. Елена Георгиевна сказала, между прочим, что она собрала все консервы в доме и послала в четыре адреса.

– Я с четырнадцати лет имею дело с местами заклю-

чения.

Время от времени она с напускной сердитостью бросала в комнату Юре:

– Юра, вы же обещали щелкнуть два раза. Андрей Дмитриевич устал.

– Щас, кончаю, – отвечал Юра.

– Два раза – это метафора, – пояснял я.

– Не понимаю я этих ваших метафор, – шутливо сердилась Елена Георгиевна.

Наконец фотосеанс закончился. Нынче эти околооконные сахаровские портреты широко распечатаны. Самый удачный, на мой взгляд: академик сидит в кацавейке, вытянув руки вперед, умиротворенно смотрит в объектив снизу вверх; рядом на подоконнике лежат только что снятые очки; в левой руке Сахарова между пальцами зажата какая-то тряпочка. Андрей Дмитриевич что-то делал на кухне и порезал палец. Замотал его тряпкой. Так она и оказалась на исторической фотографии.

– И тряпочка моя здесь... – после бормотал акаде-

мик, разглядывая «контрольку», в робкой надежде, что Рост сжалится и как-нибудь заретуширует ее. Но у Роста, как известно, свои понятия о художественном. В этой тряпочке, намотанной на палец великого человека, и заключалась для него вся «фишка».

Впрочем, когда этот портрет появился в печати – крупно, на первой странице спецвыпуска «Московских новостей», посвященного кончине Андрея Дмитриевича, – я в самом деле увидел вместо тряпочки вполне культурный бинт: нет пределов чудесам фототехники.

Мы прощаемся с Сахаровыми. Последний разговор – о кино. Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна просят помочь им посмотреть два фильма – «Покаяние» Тенгиза Абуладзе и, как ни странно, «Тему» Глеба Панфилова. «Покаяние» – пронзительная трагическая метафора, выносящая приговор гнусному времени кровавого сталинского тоталитаризма. Ее надо посмотреть. «Тема» – о мучительном «прозрении» популярного драматурга-«соцреалиста», осознавшего, что «жизнь прошла зря»; фильм, в ту пору

ставший заметным, но вряд ли сопоставимый с «Покаянием». Эти картины к тому моменту в кинотеатрах уже прошли, но, может быть, где-то будет какой-нибудь просмотр...

-----

## **V. ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ «СОГЛАСОВАНИЙ»**

## **Ложное ощущение наступившей Свободы**

Когда мы делали это интервью, было ощущение вдруг наступившей вседозволенности, полной свободы слова, свободы печати. Потом пришло отрезвление.

Готовый текст мы отдали Изюмову 7 января примерно в половине первого. 8-го в час дня мы должны были быть у Сахарова, показать окончательный вариант.

Юрий Петрович пошел к Чаковскому. У них, видимо, произошел крупный разговор, после которого, к концу дня, Юрий Петрович находился в полной растерянности и сказал мне, что положение почти безнадежное (Росту он говорил позднее, что самое трудное – преодолеть сопротивление главного редактора).

Непонятно было, почему сопротивление возникло именно на этом, заключительном, этапе, когда столько сделано и нами, и, главное, Сахаровым. Почему Чаковский сразу не поставил крест на моей идее? Если интервью не

появится в печати, какими идиотами мы будем выглядеть в глазах Андрея Дмитриевича! В глазах Елены Георгиевны.

Утром 8-го я сидел в приемной Изюмова. Из кабинета вышел Аркадий Петрович Удальцов, один из замов главного, наш куратор, и сказал, что к Юрию Петровичу сейчас не надо приставать:

– Занимаемся вашим материалом.

– Каким? Сахаровским?

– Да.

– И что, есть надежда?

– Есть.

Такие вот начались скачки: от полной уверенности, что материал появится в газете, к полному отчаянию и от полного отчаяния – к робкой надежде.

В одиннадцать я позвонил Сахарову, сказал, что встреча в час не состоится, мы не готовы. Он ответил, что, пожалуйста, мы можем приехать в любой другой день.

Однако в 11-05 звонок от Юрия Петровича по внутреннему: «Не отменяйте встречу с Сахаровым. Может



быть, к этому времени мы получим разрешение на публикацию». Это было неожиданно. Я ответил, что уже отменил ее.

Никакого разрешения, естественно, в ближайшие часы не последовало.

К вечеру зашел к Изюмову подписать какую-то бумажку.

– Дела наши вроде бы улучшаются. Может быть, завтра мы получим разрешение.

В пятницу, 9-го, утром пошли разговоры, что вчера текст смотрел Лигачев (примерно в 16 часов). Член Политбюро, секретарь ЦК КПСС, второй человек в партии. А, стало быть, и в стране.

В конце дня в пятницу ясности еще не было.

Единственно, что Юрий Петрович мог поведать мне в утешение:

– Сказать «нет» они могли бы быстро – по крайней мере, вчера. Если не сказали, – это уже хороший признак. А то, что дело тянется так долго, – это потому, что мате-

риал слишком высоко заслали.

### **На моей «безумной идее» поставлен крест**

11 января днем возле редакции появилась черная «Волга» с начальственным номером «МОС» и двумя мигалками на крыше. Через некоторое время, будучи по делам на Суворовском бульваре, в Московской журналистской организации, я позвонил оттуда секретарше Изюмова. Та сказала, что у него Чаковский, Удальцов и, кажется, другие замы.

Примерно в пять, когда я вернулся в редакцию, Юрий Петрович вызвал меня. У него уже сидел Рост (это я понял, еще не входя в кабинет: куртка и сумка – в приемной).

– Значит так, – сказал Изюмов. – Надо, во-первых, объясниться с академиком и, во-вторых, изъять из обращения все материалы, связанные с интервью.

– Так что, его зарубили? – вырывается у меня.

Удивленно:

– А вы не знаете? Отложили...

Все ясно.

– Ну что ж, давай поедem завтра, – говорю я Росту.

– Лучше послезавтра.

– У него есть экземпляр? — спрашивает Юрий Петрович.

– Да.

– Вот это ошибка. Не надо было ему оставлять.

– Но таково было его условие.

– Да он отдаст, если попросить, – говорит Рост. –

В последний раз он был очень дружелюбен.

– Меня это очень беспокоит, – говорит Изюмов. – Как бы он кому не передал. Для нас важно выйти из этой истории без потерь.

Я любопытствую:

– Ну, и как это все было оценено? Не было сделано замечания?

Изюмов отчужденно, официально:

– Решение не печатать интервью принял главный ре-

дактор.

Я, по-дурацки:

– Но ведь его посылали наверх...

Молчание. Реплика игнорируется.

Рост рассказывает, что разговаривал с помощником Шеварднадзе, своим знакомым, и тот ему сказал, что Шеварднадзе, в ту пору министр иностранных дел, заинтересован в такой публикации: на Западе печатают, а у нас – молчание...

Юрий Петрович:

– Поскольку против публикации очень высокий человек, вряд ли нам стоит вступать сейчас в такие игры.

Словно и не говорились только что слова о том, что решение воздержаться от публикации принял главный редактор. Да, ясно, скорее всего, против – Лигачев.

– В редакции есть еще экземпляры интервью? – спрашивает Изюмов.

– Есть, у меня в сейфе, – отвечаю я.

– Пусть там лежат. И пленки с записью туда положи-

те.

На том все кончилось.

Рост остался показывать Изюмову «контрольки». Я просил его после зайти. Хотелось все обсудить, отвести душу: столько треволнений в последние дни. Он обещал, но, конечно, не зашел, каналья. Рассеянный человек.

### **Тяжелое объяснение с Сахаровым**

15 января поехали объясняться с Сахаровым – к половине второго. Ехать не хотелось. Ужасно муторно было на душе. Открыла Елена Георгиевна. Сказала, что Андрей Дмитриевич не готов, бреется в ванной. Очень, не любит бриться – только если надо, к приходу гостей...

Снова сели на кухне. Опять разговор о том, о сем. Через некоторое время появился Андрей Дмитриевич, чисто выбритый. Заметно волнуясь, воззрился на меня:

– Ну, что, как наши дела?

Я заранее решил, что скажу все сразу.

– Андрей Дмитриевич, новости у нас неприятные: руководство газеты решило отложить публикацию интервью. Неподходящий политический момент.

– Отложить? Как отложить? – заговорил он растерянно. – Но какие-то замечания сделаны? Я готов рассмотреть замечания.

Что мы могли ему сказать?

– Да нет, замечаний нет. Мы заранее предупредили начальство, что ваша позиция в отношении поправок очень жесткая.

– Жесткая... Я этого не говорил. Я сказал, что сохраняю за собой право отказаться от публикации, если сочту, что предлагаемые изменения неприемлемы. Так и надо понимать сказанное – в буквальном смысле.

– Да-да, именно так и было сказано, – подтвердила Елена Георгиевна.

Пауза. Разговор идет с паузами.

– Так что же, наша печать по-прежнему не дает возможности высказать оппозиционное мнение?

Видно было, как тяжело ему расставаться с одной из надежд, какие всколыхнуло в нем разрешение вернуться в Москву, предложение выступить в советской печати.

– Это Сахарову не дают возможности высказаться...

– заметила Елена Георгиевна.

– Это относится не к Сахарову, – возразил я. – Это относится к Иванову, Петрову, Сидорову...

Снова воцарилась пауза.

– Почему я не могу высказать свое мнение? – спрашивает Андрей Дмитриевич. – Это же мое мнение. А вы можете дать комментарий. Вы же так делаете – делите газетный лист пополам: с одной стороны – одно мнение, с другой – другое.

– Раушенбаха, например, – подсказывает Елена Георгиевна.

– Почему Раушенбаха?

– Он же много пишет о СОИ.

Академик Борис Викторович Раушенбах, по специальности физик, механик, один из основоположников на-

шей космонавтики – человек широких взглядов, как говорится, «не всегда совпадающих» с официальными. В ту пору я как заведующий отделом науки «Литгазеты» часто его печатал.

– Вы не согласны с его мнением? – спрашиваю я Андрея Дмитриевича.

– Он рассматривает взаимодействие двух противостоящих космических систем с общих позиций теории управления. И приходит к выводу, что они могут выйти из-под контроля человека. Я с этим не согласен. На самом деле последнее слово всегда останется за человеком.

Но дело не в СОИ. СОИ — это так, частность.

– Нет, «Литературная газета» не могла сама это решить, – говорит Сахаров. – Это решили где-то наверху. Но решили не сторонники Горбачева. До сторонников Горбачева интервью не дошло.

Опять пауза.

– Я готов рассмотреть какие-то замечания, которые будут сделаны. Что тут может вызывать особенные возра-



жения?

Это была настоящая пытка.

– Я не уполномочен делать какие-то замечания, – сказал я, – но, по моему, мнению, возражения могут вызывать фамилии узников совести, Афганистан, «пакет»...

– Покажите, какие места. У вас есть текст?

Я достал из портфеля ксерокопию интервью.

– Отметь те места, которые особенно настораживают, – посоветовал Юра.

Однако Андрей Дмитриевич все поворачивает вспять:

– Нет, я хотел бы, чтобы замечания исходили от тех, кто решает вопрос о публикации.

Я понимаю его: какой смысл выслушивать какие-то замечания от «не уполномоченных»?

– Ну, пусть Олег Павлович отметит, что, на его взгляд, может помешать публикации, – примирительно сказала Елена Георгиевна.

– Да, условно, в предварительном порядке, – поддержал ее Юра.

Я стал намечать карандашом, что я выкинул бы, не переставая недоумевать про себя, зачем я это делаю.

– Это что за хвостики? – поинтересовалась Елена Георгиевна, наблюдая, как я ставлю корректурные знаки удаления частей текста.

– Это понятно, – возразил Андрей Дмитриевич. – Это означает, что текст выкидывается.

Я передал ему рукопись. Он стал ее смотреть.

– Нет, – снова сказал он решительно. – Я бы хотел, чтобы замечания сделали те, кто будет принимать решение.

О, господи! Где же мы вам возьмем «тех»?

– Но здесь же ничего не остается... – неуверенным голосом сказал Сахаров, закончив просмотр.

Мы высказали надежду, что интервью все-таки будет опубликовано через какое-то время: вот пройдет пленум, укрепятся позиции Горбачева...

Поговорили еще о разном. Среди прочего, Андрей Дмитриевич сказал, что он хотел бы изложить в печати свое мнение по различным вопросам, связанным с наукой,

но он не может начать с этого. Сначала он должен сказать, что он думает по острейшим общественным проблемам...

Мы попросили Сахарова не передавать на Запад текст интервью (попросить вернуть нам оставшийся у него экземпляр у нас не хватило духа). Иначе у нас с Ростом будут неприятности.

– Но я все уже сказал им из того, что есть в этом интервью, – возразил Андрей Дмитриевич.

«Им» – это зарубежным корреспондентам. У них нет таких проблем, как у нас.

– Это не важно. Важно, чтобы они не говорили: вот текст, который не опубликовала «Литературная газета».

– В свое время я упоминал, что дал интервью Эрнсту Генри для «Литературной газеты»...

– Тут есть два отличия, – возразил я. – В отличие от нас с Юрой Эрнст Генри не работал в штате газеты, и вы ведь не печатали на Западе текст самого интервью – не так ли?

– Не печатал, – подтвердил Андрей Дмитриевич. –

Значит, два отличия... Но ведь не вы принимали решение не публиковать этот материал. В чем же вы виноваты?

Я еще раз объяснил, что если в каком-нибудь западном издании появится этот текст и будет сказано, что он предназначался для «Литгазеты» и не был там опубликован, – у нас будут неприятности. Но Андрей Дмитриевич так и не понял этого объяснения.

### **Последние трепыхания**

Вернувшись в редакцию, мы рассказали о нашей беседе Изюмову. Упомянули при этом, что, по нашему мнению, Сахаров очень заинтересован в публикации и готов идти на компромиссы. Кажется, ему вообще начинает надоедать его положение изгоя и со временем он может стать вполне лояльным человеком, критичным, но лояльным. У Изюмова опять загорелись глаза. Он сказал, что сообщенное нами очень важно.

– Внесите те изменения, о которых вы договорились,

и начнем третий раунд.

Однако на следующее утро, когда я принес ему очередной, сокращенный вариант, всем своим видом он напоминал спущенный детский шарик. Не глядя, положил рукопись в ящик стола и сказал:

– Подождем, когда нас снова призовут на ковер.

Должно быть, успел поговорить с Чаковским и тот снова охладил его пыл.

Вообще мало-помалу все более крепло ощущение, что пресек затею с публикацией не только запрет – или назовите это, как хотите – «мнение»? – высокого начальства. За день до нашего последнего посещения Сахарова я разговаривал с Изюмовым и передал ему разговор Роста с редактором «Нового времени» Виталием Игнатенко. Тот – то ли в шутку, то ли всерьез – предложил передать ему это интервью, заметив при этом: «Я, по крайней мере, скажу, что я «за» эту публикацию».

Когда я пересказал это Изюмову, добавив, что, по-видимому, Чаковский говорил там, «наверху», прямо про-

тивоположное, у него вырвалось:

– Это правильно.

Но он тут же спохватился:

– Вы не обсуждайте эти вопросы.

Через некоторое время у Юры был также разговор с его знакомым, сотрудником Отдела пропаганды Андреем Грачевым, будущим пресс-секретарем Горбачева. По словам Грачева, Чаковский принес текст интервью в ЦК и сказал: «Вы хотите, чтобы я ЭТО печатал???» Он представил дело так, что какие-то редакционные идиоты пристают к нему с этим интервью, а он никакого отношения к нему не имеет. Естественно, никто в ЦК не стал заставлять его печатать ЭТО.

Но все это, разумеется, были слухи и разговоры. Ничего достоверного о том, кто сказал решительное «нет», мы тогда так и не узнали. Повторю, что скорее всего, на мой взгляд, такое слово произнес Лигачев, но и Чаковский, конечно, внес в это «нет» свою лепту. Хотя, как помнит читатель, именно он несколько месяцев назад сказал то «да»,

без которого ничего бы и не началось. Отказаться от своих слов, задним числом сменить «да» на «нет» было обычным делом для советских партчиновников (а Чаковский, в первую очередь, конечно, был партчиновником) в случае, если им угрожала не то что малейшая опасность, а малейшие неприятности, да просто косой взгляд какого-то начальства.

Юра взял текст и сам отвез его на Старую площадь Грачеву. Тот свел его с Власовым, первым замом заведующего отделом пропаганды Александра Николаевича Яковлев. Власов долго беседовал с Юрой. Выяснилось, что они ничего не знают о готовности Сахарова пойти на компромиссы.

– Он не ожесточен? – спрашивали Юру. – Все-таки семь лет...

Яковлев в тот момент отсутствовал.

Вроде бы было обещано еще раз вернуться к вопросу об интервью.

Через некоторое время Юра опять позвонил Грачеву. Тот сказал, что пока положение неясное. Все зависит от

предстоящего в конце января пленума ЦК. Если все пойдет как надо, шансы на публикацию увеличатся. Если же колесо повернется в обратную сторону, надо, напротив, быть готовым вовремя выдернуть ногу.

Пленум все откладывался. В один из дней в конце января канадское радио передавало изложение статьи о положении в Советском Союзе в газете «Глоб энд мейл». Автор писал, что положение это остается сложным. Среди признаков этого – волнения в Казахстане, откладывание пленума ЦК и отсрочка «обещанной» публикации интервью с Сахаровым в «Литературной газете»...

Когда в конце концов пленум состоялся в январе, стало вполне ясно, что шансы на публикацию не выросли. К этому времени партноменклатура мало-помалу начала осознавать, что деятельность нового генсека представляет для нее опасность. Вообще-то она, номенклатура, привыкла, что при смене «высокого» начальства нередко звучат какие-то необычные словеса. Но проходит время, и все возвращается в обычную, накатанную колею, словеса забыва-



ются. Здесь, по многим признакам, был другой случай. Все говорило о том, что Горбачев намерен серьезно «перетряхнуть» политическую жизнь страны, в результате чего многие партийные бонзы, пригревшиеся в своих креслах, могут их лишиться. Началось сопротивление, саботаж, чаще скрытый, но иногда и прорывающийся наружу. Горбачев и его команда хорошо ощущали это сопротивление «справа». Правда, началось и сопротивление «слева» – в частности, как раз в тот момент начал проявлять свою антигорбачевскую активность Борис Ельцин. Горбачев вынужден был лавировать между «правыми» и «левыми», точно и тонко выверять каждый свой шаг. Каким образом эта обстановка, эта атмосфера могла сказаться на судьбе нашего интервью с Сахаровым? Само его освобождение из ссылки вызвало, конечно, недовольство консервативной части высшей партократии: зачем? для чего?.. Для Горбачева же это было важное политическое, перестроечное дело, шаг вперед на пути демократизации. Однако сразу вслед за этим публиковать еще и обширное интервью с Сахаровым – по-види-

мому, даже кто-то из горбачевских единомышленников, близких к генсеку людей, его советников (не говоря уж о консерваторах) мог почесть это ненужным, излишним, ослабляющим позиции Горбачева. Это понимали даже в ФИАНе. Мы ведь помним осторожное предупреждение секретаря парторганизации теоротдела Файнберга, услышанное мной за день до первой нашей встречи с Сахаровым (когда я попросил Владимира Яковлевича устроить нам встречу с академиком): в положении Сахарова пока не все понятно, «есть противоречия»... Тем более это понимали в ЦК и в «штабе» Горбачева. Наложить запрет на интервью мог и тот же Лигачев (вскоре он вообще проявит себя как противник демократии) и твердый демократ, один из главных инициаторов перестройки Яковлев... Это вообще было по его «ведомству» – отдела пропаганды ЦК. Правда, когда, спустя годы, при встрече с ним, я его спросил, не он ли наложил «вето», он ответил, что ничего не знал об этом материале. Может, и вправду не знал, не дошел до него этот текст, может, забыл, может, слукавил, не захотел

брать на себя грех.

Так или иначе, постепенно, медленно все соскользнуло в конце концов к нулю...

### **Сахаров остается Сахаровым**

Надо ли говорить, что мы с Юрой были жутко расстроены всей этой историей. Более всего, разумеется, сознанием того, что жутко расстроен сам Андрей Дмитриевич. Видно было: он надеялся, что вслед за разрешением вернуться в Москву, он получит и другое разрешение – открыто говорить все, или почти все, что он думает. Эту надежду подкрепили и мы, попросив у него интервью и уведомив, что на то есть санкции нашего (а вроде бы и более высокого) начальства. И вот чем все обернулось... Мы предстали перед великим человеком жалкими шелкоперами, не отвечающими за свои слова, отнявшими у него немалое время и в итоге принесшими ему немалое разочарование.

В дальнейшем, однако, выяснилось, что Андрей Дмитриевич был не так уж и расстроен всей этой историей. В книге воспоминаний «Горький, Москва, далее везде» он так ее описывает – вполне спокойно и даже с некоторой иронией:

«В первых числах января я дал интервью советской прессе, а именно «Литературной газете». Интервью, однако, не было напечатано. Произошло все это так. 30 декабря после семинара в ФИАНе ко мне подошли два корреспондента «Литературной газеты» – Олег Мороз (тот самый, которого мне «сватал» Виталий Лазаревич Гинзбург за два месяца до этого) и Юрий Рост, известный фотокорреспондент. Они попросили разрешения прийти домой и взять интервью. Подумав несколько минут, я согласился с условием, что мне будет предоставлен на подпись окончательный, согласованный со всеми инстанциями текст, возможно, с некоторыми сокращениями и исправлениями. Если я найду их приемлемыми, я подпишу интервью и после этого оно уже без всяких измене-

ний пойдет в печать, в противном же случае вообще ничего не должно публиковаться. Только такая форма ограждала меня от возможных искажений моей позиции. Мороз и Рост согласились и тут же дали мне бумажку с предварительными вопросами. В первый день нового года, когда все нормальные люди отдыхают после новогодней попойки, я усиленно работал над этими не простыми для меня вопросами, а Люся печатала и редактировала (как мы это обычно делаем). Вопросы были в основном те же, что и у инкоров, и мои ответы тоже были такие же (Афганистан, узники совести, принцип пакета, ядерные испытания), но хотелось **ДЛЯ ДЕБЮТА В СОВЕТСКОЙ ПРЕССЕ** (выделено мной. – **О.М.**) быть особенно ясным и логичным.

Вечером 30 декабря мне предстоял телемомент, я спешил и согласился с предложением Роста и Мороза, что они подвезут меня в своей машине. Разговаривая между собой, они упомянули с уважением какого-то Яковлева (академика Александра Николаевича Яковлева. – **О.М.**) и, обращаясь ко мне, замети-

ли: «Не беспокойтесь, это не тот, которого вы, кажется, побили». Я подтвердил, что действительно побил. Эти молодые люди были в неслужебном общении, по-видимому, похожи на многих других известных мне московских интеллигентов — западное радио, во всяком случае, они регулярно слушали. Первый вариант интервью Мороз и Рост записали 3 января (задав несколько дополнительных вопросов), затем в течение января приходили еще два или три раза. Они сделали кое-какие приемлемые для меня изменения и сокращения и добавили еще три-четыре вопроса, в тексте которых содержалась полемика с моими наиболее острыми ответами. Мороз и Рост рассказали, что интервью одобрили редакторы отделов, но не одобрил главный редактор Чаковский, и теперь оно проходит все более и более высокие инстанции, дойдя до «предпоследней» ступени (намекалось, что это — Лигачев, последняя верхняя ступень была бы — Горбачев). При последней встрече они сказали, что публикация интервью откладывается на неопределенное время, во всяком случае до январского пленума, «на котором многое должно решиться». На самом деле ин-

тервью просто не состоялось. До такого уровня гласность не распространилась. А жаль. Появление моего интервью в советской прессе было бы крупным событием «перестройки» — с учетом того, что я в своих ответах не пошел ради «проходимости» по пути самоцензуры».

Ирония же в сахаровской самооценке этой истории заключалась в том, что был у нее, как полагает Андрей Дмитриевич, и некий полезный результат:

«Хотя интервью и не пошло, но некоторый профит мы от него все же имели. Люся написала от моего имени, а я подписал, письмо корреспонденту «Литературной газеты» Аркадию Ваксбергу (пишущему на моральные и юридические темы) о деле арестованного незадолго до того в Киеве человека, и попросил Роста и Мороза передать письмо адресату. Библиотекарь Проценко был арестован по обвинению в составлении и хранении рукописи религиозно-исторического содержания, суд вернул дело на дорасследование, но оставил Проценко в следственной тюрьме. Ваксберг (не ссылаясь на меня)

обратил внимание прокурора на это нарушение, Проценко был освобожден, а затем дело в отношении его было прекращено».

Здесь мы видим характерное для Сахарова выравнивание чего-то значительного, общезначимого (несостоявшегося «крупного события «перестройки» – его первого после освобождения интервью советской прессе) и вроде бы частного, относящегося к какому-то одному, мало кому известному человеку (освобождение киевского библиотекаря Проценко). Да, общезначимое, конечно, общезначимо (извините за тавтологию), но не менее важна и маленькая, частная победа над бесчеловечной системой.

### **Колесо перестройки не остановилось**

Сейчас уже трудно поверить, что это действительно было – все эти немислимые титанические хлопоты вокруг подготовленных к публикации десяти машинописных страничек, напечатанных через два интервала. Но это – было,



было, было... Это был короткий срез нашей истории, когда одному из величайших наших соотечественников, величайших людей XX века было позволено вернуться из изгнания, но все еще не было ясно — будет ли сделан следующий логический шаг: будет ли ему позволено открыто говорить то, что он думает, или горьковское его молчание продолжится в Москве. Вокруг этого шла незримая ожесточенная борьба, часть общей борьбы сил, движущих колесо перестройки, и сил, тормозящих его. К счастью, колесо не остановилось, не покатило назад — оно двинулось дальше. Все, что хотел сказать Сахаров в том ненапечатанном интервью, он за три года, которые ему оставалось жить, сказал — и в западной печати, и в нашей. Значительно больше того. И не потому, что кто-то давал какие-то особые разрешения — когда крепчает демократия, запреты перестают действовать, а разрешения не требуются, они имеют силу только при отсутствии демократии. Демократия сама себе намечает пределы дозволенного.

В становлении этой демократии — демократии горба-

чевско-ельцинского периода, в свержении коммунистического режима, роль правозащитного движения, надо честно признать, не была решающей. Наверное, и сам Сахаров это понимал – он был трезвым мыслителем. Как часто бывает в истории, на первый план тут вышло достаточно случайное стечение обстоятельств. Если бы в 1985-м генсеком выбрали не Горбачева, а, допустим, Гришина или Романова (что было вполне возможно), мы еще долго могли бы жить в том же самом Советском Союзе.

Исторически коммунистическая власть с ее неэффективной, мертвой экономикой, была, разумеется, обречена, но срок ее кончины вполне мог бы быть существенно отодвинут.

Главная историческая заслуга правозащитного движения, в центре которого стоял Сахаров, оказалась в другом: во-первых, оно расшатало режим, во-вторых, сформировало негативное отношение к нему за рубежом и, наконец, в-третьих, подготовило наше общество, прежде всего интеллигенцию, к адекватному восприятию горбачев-

ских, а затем ельцинских реформ. Без такого восприятия и мощной поддержки со стороны общества эти реформы просто не состоялись бы, они были бы в самом начале задушены могучими контрреформистскими силами. Можно сказать, что правозащитное движение советских времен послужило одним из главных детонаторов для взрывообразного рождения демократического движения времен перестройки и постперестроечных 90-х годов.

Недаром же и Сахаров стал одним из лидеров этого нового демократического движения. Хотя, к сожалению, и не надолго.

-----

## **КАК ЕГО УБИВАЛИ В ГРОЗНОМ**

Как уже говорилось, из ссылки Сахаров вернулся сильно постаревшим и, можно, пожалуй, сказать, одряхлевшим, выглядящим значительно старше своих шестидесяти пяти. Причиной этого преждевременного постарения и одряхления – в этом сходятся все знавшие Андрея Дмитриевича до Горького и после, имевшие представление о том, что там с ним происходило, – были голодовки.

Об этом, в частности, довольно полно написали в своих книгах коллеги Сахарова по теоретическому отделу ФИАНа академики Виталий Лазаревич Гинзбург (руководитель отдела) и Евгений Львович Фейнберг, принимавшие близкое участие в его судьбе. Цитируемые здесь книги авторы подарили мне с теплыми дарственными надписями сразу после их выхода.

**Из книги академика Е.Л. Фейнберга «Эпоха и личность. Физики» (М. 2003), глава «Сахаров Андрей**

Дмитриевич»

## Голодовки

Теперь я перехожу к очень непростой, тяжелой теме — к голодовкам Андрея Дмитриевича. Как известно, в Горьком их было три: в 1981, 1984 и 1985 гг.

В конце 1981 г. по Москве разнеслась весть, вызвавшая ужас и недоумение у множества людей: Сахаров объявил смертельную голодовку. Потом узнали, что голодает он вместе со своей женой. Что он требует? Освобождения из ссылки? Заступается за кого-либо из диссидентов? Нет, требует разрешения на выезд в США невесты сына Елены Георгиевны, Лизы Алексеевой. Кто это такая? Ведь разрешение на выезд вообще очень мало кому дают, и из-за этого легендарный Сахаров готов умереть? Реакция была различной. Многие просто ничего не понимали. Я-то знал эту милую и умную девушку, действительно очень близкую Е.Г. и А.Д. Кое-кто по-

лагал, что он хочет уберечь ее от преследований за близость к семье, как ранее уберег детей, зятя и внука Елены Георгиевны, добившись их отъезда в США. Но многим представлялось (хотя и это казалось неубедительным), что вообще не в Лизе дело. Важно было одно: Сахаров протестует, бросая вызов властям, и может умереть. Многие считали, что он не имеет права так рисковать своей, столь дорогой для народа жизнью. Однако были люди, и у нас, и за границей, считавшие, что это прекрасно: великий гражданин готов отдать жизнь за счастье ничем не выдающейся девушки. Но важнее всех рассуждений было одно: Сахаров может умереть. Это было ужасно.

В один из тех дней мне сообщили, что Лиза накануне пыталась попасть к президенту Академии А.П.Александрову, но ей целый день отказывали в пропуске. Я ухватился за этот повод для каких-то действий, решил сам пойти к нему и уговорить его принять Лизу. Это была нелепая идея, но ничего не делать было невыносимо. Анатолий Петрович меня знал и еще недавно продемонстрировал хорошее ко мне отношение,

его помощницу-референта я тоже хорошо знал, и я пошел, в общем, наобум. Я, конечно, ничего положительного не добился, но узнал нечто ценное, почему об этом визите и пишу.

Когда я утром пришел в приемную президента, его помощница, Наталья Леонидовна Тимофеева, сказала, что у него сейчас идет оперативка – совещание с вице-президентами и главным ученым секретарем Академии Г.К.Скрябиным, нужно подождать окончания. Я стал ждать, разговаривая с Натальей Леонидовной о Сахарове, которого она помнила еще со времен его молодости.

В это время в приемную буквально влетел еще довольно молодой, энергичный академик Р.З. Сагдеев и уже на ходу начал громко говорить, почти кричать: «Товарищи, вы понимаете, что происходит? Вы представляете себе, что будет, если Сахаров умрет? Все наши международные научные программы, все связи полетят к черту, с нами никто не захочет иметь дела!» Узнав, что у президента идет совещание, он убежал куда-то и, появившись минут через десять, сообщил: «Они об-

суждают именно этот вопрос. Представитель КГБ заявил, что ни в коем случае нельзя отступать, положение под контролем и опасаться нечего. Говорит: если уступить, «они нам совсем сядут на голову». И по-прежнему возбужденный, опять убеждал. Вскоре он снова появился и сообщил: «Вице-президенты уговаривают Анатолия Петровича поехать прямо к Брежневу, а он упирается». Действительно, для А.П. обратиться к Брежневу через голову КГБ означало вступить в прямой конфликт с этой грозной и мощной организацией. Легко понять Александра — решиться на такой шаг было непросто...

Наконец Наталья Леонидовна сказала, что я могу заходить. Анатолий Петрович сидел за своим столом, раздраженный, хмурый, даже злой. Я стал ему говорить, что понимаю трудность его положения, не могу посоветовать ничего решительного, но прошу принять Лизу — может быть, это поможет найти выход, какой-нибудь компромисс. В общем, как я не имел четкого плана раньше, так и здесь говорил, сам не уверенный, что это к чему-нибудь приведет. Просто хотел по-



мочь Лизе. Настаивать на обращении к Брежневу после того, как я узнал, что его толкают на это вице-президенты, казалось бессмысленным.

Но была одна «задняя мысль»: личный контакт с человеком всегда производит благоприятное действие, большее, чем любые разговоры о нем...

Александров раздраженно стал говорить, что ничего не может сделать, все это не в его ведении. «Вот, видите – все это телеграммы протеста из-за границы», – указал он на свой стол (который сплошь, без остатка был покрыт тесно и аккуратно уложенными пачками телеграмм) и неудачно добавил: «В Академии только в Москве 7000 сотрудников, и у всех какие-то семейные дела, я не могу в них влезать». Я возразил: «Я понимаю, от них у вас и так много забот, но сколько Сахаровых приходится на столетие?» – «Не могу я ничего сделать», – повторил он. Я ушел, сказав снова: «Подумайте, может быть, приняв Лизу, что-либо и придумаете». В общем, как я уже говорил, визит был нелепый, но то, что я увидел и услы-

шал, особенно о позиции КГБ («положение под контролем», отступить нельзя»), вероятно, стоило рассказать, это нужно было учитывать в нашей деятельности.

Ясно было (и я это точно знаю), что на А.П. давили не только те, кто опасался лишь разрыва научных связей, но и те, кому Андрей Дмитриевич был дорог как уникальная личность, просто как человек, вызывавший любовь и восхищение. Иногда слова о возможном разрыве связей были лишь «рациональным прикрытием» более личных чувств. Я не знаю точно, как оно произошло, но Анатолий Петрович в конце концов преодолел себя и совершил этот поступок – поехал к Брежневу, который решил вопрос: «Пусть она уезжает». Жизнь Андрея Дмитриевича на этот раз была спасена без большого урона для здоровья.

Второе потрясение пришло в 1984 г., когда Сахаров снова объявил смертельную голодовку, на этот раз требуя разрешения на поездку в США Елены Георгиевны «для свидания с матерью, детьми и внуками и для лечения». Последний до-

вод можно было понять: к этому времени Е.Г. уже перенесла тяжелый инфаркт (и, может быть, не один), уже была осуждена на ссылку в Горький. Особенность ее состояния, как Елена Георгиевна и Андрей Дмитриевич мне разъясняли, была в том, что для спасения глаз, пострадавших от контузии на фронте, требовались лекарства, которые были противопоказаны при тогдашнем состоянии ее сердца (а лекарства, нужные для сердца, вредили глазам), поэтому для хирургического лечения глаз она уже трижды ездила в Италию; это, конечно, тогда, в 70-х годах, было совершенно необычное явление. Но мотивировка «для свидания с матерью, детьми и внуками», которую при перечислении доводов Андрей Дмитриевич всегда приводил на первом месте, была многим непонятна. Конечно, это характерно для А.Д. с его ничем не замутненным отношением к простым человеческим ценностям. Дочь, мать, бабушка, действительно, имеет право, быть может, в последний раз в своей жизни повидать самых близких ей людей. Но все знали в то время: если ты провожаешь за границу даже близкого человека — это разлука навсегда. Вот почему столь-

ко слез проливалось в аэропорту Шереметьево. Поэтому такая мотивировка А.Д. многим была непонятна. Она ослабляла воздействие требования выпустить жену для лечения. Но опять, оставляя в стороне все эти соображения, люди знали одно: Сахаров на пороге смерти, он снова протестует.

Однако, во всяком случае, для меня, узнавшего формулу КГБ: «Положение под контролем, опасаться нечего, а если уступить – они нам совсем сядут на голову», как и для многих других, по крайней мере, для большинства сотрудников нашего Отдела, была совершенно ясна безнадежность и потому бессмысленность этой голодовки. Мы тогда еще не знали, что значит этот «контроль» КГБ. Узнали о нем потом из письма А.Д. Сахарова, адресованного Александрову... Неслыханная жестокость «контроля», о котором говорили представители КГБ, подтверждала мое самое первое впечатление от ареста 22 января 1980 г.: раз власти пошли на эту акцию, значит, пойдут на все.

Буря возмущения мирового общественного мнения, государственных деятелей (например, Миттерана), разумеется, не могли оказать никакого влияния на руководство Брежнева – Суслова (в 1984 г., во время второй голодовки, – Черненко). Ведь все это время оно вело преступную войну в Афганистане, в которой погибли десятки тысяч наших молодых людей, во много раз большее число их было искалечено физически и психологически. Погибло около миллиона афганцев. Весь мир бушевал, ООН единогласно (за исключением наших вассалов) осудила нас. Все это было гораздо существеннее, чем благородная борьба мировой общественности за Сахарова (действительно оказывавшая большую моральную поддержку Андрею Дмитриевичу и Елене Георгиевне).

Руководство страны продолжало страшную афганскую войну, не обращая никакого внимания на возмущение во всем мире. И в то же время планомерно, ловко подавляло героическую борьбу немногих участников правозащитного движения. Одних – в тюрьму, лагеря, ссылку, психушки, других – за

границу, иногда делая это так, что все выглядело, как уступка мировой общественности (Плющ, Александр Гинзбург и другие), иногда высылая насильно (Солженицын) или попросту лишая гражданства (Ростропович и другие). Не наивно ли было верить при этом в успех голодовки? В Москве, для тех, кому А.Д. был дорог и таким, с его иллюзиями, каждый день голодовки был болью. И когда он сдался, прекратил голодовку, для нас это стало облегчением. Но не для него. Приехавшие к нему сотрудники Отдела увидели измученного, постаревшего человека, угнетенного сознанием того, что он не выдержал голодовки. К несчастью, он тогда же решил в будущем начать все сначала.

Его, конечно, можно понять. Обожаемая жена, здоровье которой находится в критическом состоянии — достаточная причина. Готовность поставить свою жизнь «на карту» может вызвать горькое чувство и даже осуждение у других, но тогда нужно осуждать и Пушкина, который прекрасно понимал, что он значит для России, и, тем не менее, защищая свою честь и

честь своей жены от всех этих долгоруких и прочих, погиб от руки ничтожества – Дантеса. Но бесперспективность борьбы Сахарова, заведомая безнадежность, давила и мучила. Конечно, правы те, кто говорят, что, независимо от повода, сам факт его протеста был в какой-то мере борьбой также и за всех нас. Но я, например (как, наверное, и очень-очень многие), не хотел, чтобы он так боролся за меня. Пусть мне будет хуже (все же не так уж плохо), лишь бы он был жив, не превращался в старика раньше времени.

Я до сих пор не могу понять, как этот умный человек (да и многие одобрявшие его решение, тоже умные, близкие ему люди) не признавал простой вещи: депортация в Горький и связанные с ней другие преследования были прежде всего карой за его протест против афганской авантюры. Его ссылка – лишь отзвук, отблеск, крохотная часть всего огромного преступления, совершавшегося в Афганистане. Рассчитывать на эффективность поддержки мировой общественности было в высшей степени наивно. Говорят: американский конгресс

принял специальное решение в защиту Сахарова. Но этот же конгресс не только принял множество решений в защиту афганских моджахедов, но санкционировал передачу им миллиардов долларов, огромного количества вооружений. Однако это ни на волос не сдвинуло гранитное величие тупой и жестокой власти, осуществившей эту авантюру. Пользуясь сравнением самого Андрея Дмитриевича, можно сказать, что его ссылка, как и ссылка Елены Георгиевны, были лишь щербинками на этом монументальном граните (это отсыл к шутовскому стишку, сочиненному Сахаровым: «На лице каменном Державы, / Вперед идущей без заминки / Крутой дорогой гордой славы, / Есть незаметные Щербинки»). Щербинки – микрорайон Горького, где жили Сахаровы во время ссылки. – **О.М.)**

О том, насколько власть не придает значения зарубежным протестам, можно было судить уже по той готовности, с которой она выбрасывала из страны и диссидентов, и мало-мальски оппозиционно настроенных людей – писателей,



журналистов, артистов и т. п. Ведь за границей они все сильно способствовали развитию протестов общественности, разоблачению злодеяний нашей власти. Но это ее совершенно не трогало: «там» делайте, что хотите.

Но решение Сахарова о новой голодовке в 1985 г. было непоколебимым. Мы знали о нем, ужасались, как и перед голодовкой 1984 г., отговаривали его (я не забуду последнюю перед второй голодовкой «беседу» с ним в Горьком, конечно, не устную, а на бумаге, это было 4 апреля 1984 г.) Перед голодовкой 1985 г. он прислал А.П.Александрову письмо с заявлением, в котором писал, что если его просьба о разрешении на поездку Елены Георгиевны будет удовлетворена, он сосредоточится на научной работе по управляемому термоядерному синтезу, в противном же случае заявляет о своем выходе из Академии наук. Ясно было, что он и голодовку возобновит. Все это усиливало наше волнение. Я решил написать ему нижеследующее письмо (здесь и далее опущены и заменены многоточием только те части писем, где обсуждались его чи-

сто деловые хозяйственные поручения, в частности, его намерение продать дачу).

«Дорогой Андрей Дмитриевич!

Упрекать Вас за действия, которые я считаю неправильными, было бы бесчеловечно (учитывая Ваши страдания последних лет) и несправедливо (поскольку Вы основываете свои решения на недостаточной информации: даже когда Е.Г. ездила в Москву, вся информация поступала от диссидентов и иностранных корреспондентов, а это очень тенденциозный источник). Но я не считаю возможным не сказать Вам того, что, по-моему, есть правда, как бы неприятна она ни была.

Ваша «угроза» выйти из АН, если Е.Г. не выпустят лечиться за границей, идет, я убежден, навстречу горячим пожеланиям очень многих из руководства АН. Чтобы осуществить эту их мечту, достаточно на заседании Президиума зачитать один абзац из Вашего письма к А.П., даже не все письмо, и огромное большинство радостно вздохнет, избавившись от постоянной неприятной обузы (последующий шум на Западе

вообще не имеет смысла, и на него легко ответить: удовлетворили Ваше добровольное желание). Поэтому своей «угрозой» Вы фактически заблокировали выезд Е.Г. Но главное даже не в этом: покинув АН, Вы потенциально подрываете возможность продолжать в будущем научную работу: о не члене АН Академия совершенно не обязана заботиться, обеспечивать возможность работы (см. Устав).

Вы, мне кажется, недооцениваете два обстоятельства. Во-первых, западные ученые сейчас больше всего озабочены угрозой ядерной войны и гонкой вооружений. В январе в Москве была делегация АН США и вела переговоры о научном сотрудничестве. Они шли очень гладко, ни Вы, ни другие диссиденты не были даже упомянуты. Один из руководителей делегации в неофициальном, но публичном разговоре так и объяснил: члены Нац. АН США жмут на руководство, требуя сотрудничества и отбрасывания всего, что может помешать.

Конечно, вполне, вполне возможно, что что-то делается по закрытым каналам (чтобы не раздражать самолюбие и пре-

стиж), как это весьма принято, но никаких свидетельств я об этом не знаю.

Во-вторых, требование о разрешении Е.Г. лечиться за границей очень непопулярно. 270 миллионов людей лечатся в СССР, и такое требование в глазах многих очень недемократично, не вяжется с Вашим образом борца за справедливость и демократию.

Я горячо прошу Вас немедленно официально взять обратно свое заявление о выходе из АН. Нужно послать телеграммы А.П. и В.Л. (Анатолию Петровичу Александрову и Виталию Лазаревичу Гинзбургу. – **О.М.**) и не знаю, кому еще (но их могут не вручить, как уж бывало), и письмо, или хотя бы сообщить устно.

Простите, что наговорил Вам таких неприятных вещей. Но никто другой этого не сделает. Поэтому я должен был.

Всего Вам и Е.Г. хорошего – возможного и невозможного.

Жалею, что мой визит к Вам откладывался и откладывался (до 1-го марта?), пока я не загрипповал. Без этого приехал бы.

24/II85 Ваш Е.Л.»

Очевидно, что письмо написано в отчаянии. Я не уверен, что, повторись такая ситуация теперь, я использовал бы приведенный «во-вторых» аргумент против требования разрешить Елене Георгиевне поездку в США. А.Д. ответил мне письмом, в котором видна его чрезвычайная взволнованность (вычеркнутые и замененные слова, вписанные дополнительные слова и фразы над строкой и т. п.)

«Дорогой Евгений Львович!

Я не основываю свои решения на информации от диссидентов или зап. радио. Мое решение добиваться любой для меня ценой поездки Е.Г. — основано на том, как я понимаю свой долг перед ней, отдавшей мне все. Я прекрасно знаю озабоченность западных ученых ядерной войной, я тоже озабо-

чен этим. Эта озабоченность только конъюнктурно (только иногда) противоречит защите советских ученых. Но я не могу делать раскладки, нет у меня выбора. Требование дать Е.Г. (возможность. – **О.М.**) лечиться за рубежом – не каприз, ее положение выделено из 270 млн. людей граждан СССР ненавистью к ней КГБ. Вы не можете этого не понимать. Она должна иметь право увидеть близких. Это тоже не каприз. Вы предлагаете мне взять обратно заявление о выходе из АН. Я не буду этого делать. Я убежден, что без этой угрозы (не только АН, а и КГБ) Александров вообще ничего не мог бы предпринять по моему делу.

А. С.»

Далее приписка на обороте листа:

«P.S. А если АН действительно мечтает от меня избавиться – тогда это раньше или позже все равно случится – лучше уж хлопнуть дверью. Я предпочитаю лучшедохнуть с голоду, а не быть в такой компании, которая жаждет от меня избавиться.

А.С.»

Трагедия – это конфликт, в котором обе стороны правы. Но, как мне уже приходилось писать, в трагедии они правы по-разному: одна сторона – разумностью, расчетливостью, другая – безрасчетной, без «раскладки» человечностью. Ужас заключался в том, что, как и в античной трагедии, но уже в живой нашей жизни конфликт мог разрешиться только гибелью героя, человеческого и нерасчетливого. Это не давало покоя и побуждало меня приводить Андрею Дмитриевичу неприятные, иногда жестокие доводы.

Не помню, как происходил этот обмен письмами. Я в эти месяцы болел (впервые – сердце) и не мог ездить в Горький.

Но выяснилось, что в вопросе о выходе из АН мы оба не представляли себе, какую хитроумную возможность использует президент, чтобы все оставалось тихо-мирно (см. ниже). Я написал новое письмо, которое предполагал передать с кем-либо из детей А.Д. (им можно было ездить, когда угодно). Но

они не захотели поехать по личным причинам, а Люба (его дочь) сказала, что такое письмо можно послать и по почте. И в самом деле, — я понял, что мои действия соответствуют желаниям «органов». Это именно тот случай, когда я фактически мог рассматриваться, как их «агент». Вот это письмо. (Всюду нужно учитывать, что наши письма всегда писались с расчетом и на «постороннего читателя», — без недомолвок, исключая возможность нежелательного истолкования):

«Дорогой Андрей Дмитриевич!

Так как совершенно неясно, когда именно совершится следующая поездка к Вам сотрудников Теоротдела, я решил попросить кого-либо из Ваших детей отвезти Вам просимые Вами лекарства. Как Вы видите, это пока еще не все, что Вам нужно. (Как-то так сложилось, что на мне лежала ответственность за снабжение Е.Г. и А.Д. лекарствами. Андрей Дмитриевич присылал длинные списки и мы раздобывали их либо в Москве, либо за границей. Один раз нужное редкое лекарство



прислал Генрих Бёлль. Я все собирал и их отвозили... —

**Е.Ф.)**

Пользуюсь случаем сообщить Вам, что, как Вам уже телеграфировал В.Л.Гинзбург, Ваше письмо было вручено А.П.Александрову своевременно. В связи с этим хочу сообщить Вам также нижеследующее.

1. Ваше заявление о возможном выходе из Академии наук не будет иметь последствий. Такого пункта о выходе в Уставе АН нет, а исключать Вас не собираются. Вы по-прежнему будете числиться академиком.

2. Ваше заявление о возможной Вашей голодовке вызывает большое огорчение. При теперешнем состоянии Вашего здоровья это жизненно опасно. По опыту прошлого года Вы знаете, что никакой шум за границей не приносит желаемого Вами результата. Это пустое сотрясение воздуха. В этом же году и этого не будет, так как о начале Вашей голодовки никто во всем мире даже не узнает. Поэтому я убедительно сове-

тую не совершать таких опасных и заведомо бесполезных в смысле Ваших целей поступков...

Всего Вам хорошего, прежде всего – здоровья и уравновешенности.

9/IV1985 Ваш Е.Фейнберг».

Увы, это письмо (которое тоже, конечно, не остановило бы Андрея Дмитриевича) опоздало: 16 апреля он начал третью голодовку...

В своей статье «Кому нужны мифы?» (журнал «Огонек», №11 за 1990 г.) Елена Георгиевна цитирует п.2 этого письма (начиная со слов «Ваше заявление...»), но без последней фразы («Поэтому я убедительно советую...») и не называет моего имени как автора. Она остро иронизирует по поводу этих строк: «Вот как!.. А «сотрясение воздуха» всегда помогало. Пока меня не заперли в Горьком, было опубликовано все, что Сахаров там написал» и т.д.

Верно, героическая деятельность главным образом самой Елены Георгиевны сделало возможным спасение и публикацию написанного Андреем Дмитриевичем, но какое это имеет отношение к совершенно безрезультатным требованиям мировой общественности (об освобождении А.Д. и разрешении поездки Е.Г.), к ужасам бессмысленной голодовки? Я продолжаю считать, что сказанное в моем письме было правильно и не вижу оснований для иронии. Впрочем, в этой статье Елены Георгиевны было немало несправедливых слов и по поводу других лиц. Она сама начинает ее словами: «Странное создалось положение. Я все время кого-то обижаю» (это не удивительно, ее статья написана вскоре после внезапной трагической кончины Андрея Дмитриевича. Елена Георгиевна проявила в эти страшные, горестные дни поразительное мужество и стойкость. Но ее состояние все же не позволяло быть этому мужеству и стойкости безграничными, а ее высказываниям – без исключения справедливыми). Я не испытывал чувства обиды за себя, поскольку считал (и считаю) себя в этом вопросе правым...

Но вернемся к началу третьей голодовки, 16 апреля 1985 г.

Нетрудно понять, чем кончился бы этот новый шаг навстречу физической гибели. Но здесь произошло чудо. После смерти Черненко 11 марта состоялся знаменитый Апрельский пленум ЦК, на котором руководство страной было возложено на М.С.Горбачева (здесь неточность: апрельский пленум состоялся, естественно, в апреле, а не в марте. – **О.М.**). Он был тогда совсем не известен широким массам, ему еще только предстояло завоевать авторитет и в народе, и в аппарате власти. По довольно достоверным слухам, избрание Горбачева было трудным и оказалось возможным лишь потому, что удалось избежать участия в заседании таких закоренелых брежневцев, как Щербицкий и Кунаев. 23 апреля Горбачев выступил на пленуме ЦК с программной речью, в которой прозвучали такие необычные слова, как «гласность», «социальная справедливость», «перестройка», которые удивляли, но им поначалу не придавали значения (вот это уже был тот самый

знаменитый апрельский пленум. – **О.М.**). Однако уже 31 мая в Горький к Сахарову прибыл высокий чин КГБ. Из разговоров с ним Елена Георгиевна заключила, что «Горбачев дал указания КГБ разобраться с нашим делом. Но ГБ вело свою политику. Так что у них шла своя борьба, в которой было неясно, кто сильнее – Горбачев или КГБ» (см. Е.Г.Боннэр, «Постскрипtum...», с.129). Если такая борьба и шла (а это в высшей степени вероятно), то, пока А.Д. страдал от насильственного кормления в горьковской больнице, эта борьба развивалась очень быстро и в определенном направлении.

Как пишет в своих воспоминаниях Сахаров («Горький – Москва...», с.4), 11 июля, т. е. промучившись почти три месяца, он прекратил свою голодовку, «...не выдержав пытки полной изоляции от Люси и мыслей об ее одиночестве и физическом состоянии», и был возвращен из больницы домой. Но 25 июля он возобновил голодовку и через два дня был снова насильственно помещен в больницу. Он, конечно, ничего не знал о развитии упомянутой «борьбы» в верхах, однако

А.Д. пишет далее (см. «Горький – Москва...», с.7), что уже 5 сентября вновь к нему приехал тот же Соколов, который был у него 31 мая.

Но «...тогда Соколов говорил со мной очень жестко, по-видимому, его цель была заставить меня прекратить голодовку, создав впечатление ее полной безнадежности... На этот раз (5 сентября 1985 г.) Соколов... был очень любезен, почти мягок... Соколов сказал: «Михаил Сергеевич (Горбачев) прочел Ваше письмо ... М.С. поручил группе товарищей... рассмотреть вопрос об удовлетворении Вашей просьбы». На самом деле я думаю, что в это время вопрос о поездке Люси уже был решен на высоком уровне, но КГБ, преследуя свои цели, оттягивал исполнение решения». Оно было исполнено еще через месяц, когда Елене Георгиевне было наконец официально разрешено поехать в США. Там ее сначала лечили консервативно, но потом все же сделали операцию на открытом сердце. Это в корне изменило ее физическое состояние, можно думать – спасло ей жизнь. В упомянутой уже статье в

«Огоньке» Елена Георгиевна пишет, что именно протесты мировой общественности и беспокойство государственных деятелей Запада принесли это освобождение для нее и А.Д., «а новое правительство или старое – дело второе».

Согласиться с этим никак нельзя. Почему-то при «старом правительстве», в 1984 г., такая голодовка не помогла. Да и все годы ссылки почему-то «протесты тысяч иностранных ученых», «День Сахарова» и все остальное, что Елена Георгиевна перечисляет, не привели к такому освобождению, наоборот, положение все ухудшалось: осудили Е.Г. на ссылку, ужесточили режим, дошли до кражи сумки с рукописями А.Д. (при этом ему, сидевшему в машине, брызнули в лицо что-то, от чего он на время потерял сознание) и т.д. Мне кажется, оценка «Новое правительство или старое – дело второе» глубоко несправедлива. «Старое правительство», если в чем-то и уступало, скажем, высылая Плюща, Гинзбурга и др. (повторяю: неясно еще, уступало ли или высылало в том же порядке, как Солженицына), то делало это, ничего не изменяя во

всей остальной репрессивной политике. «Новое» же правительство освободило всех правозащитников. Не исключено, конечно, что именно потому, что во главе страны оказался Горбачев (а не Черненко, как было во время безрезультатной страшной голодовки 1984 г.), давление зарубежного общественного мнения помогло новому руководителю преодолеть сопротивление КГБ.

Андрей Дмитриевич вернулся из больницы уже совсем не тем, даже еще не пожилым человеком, каким он был до всех голодовок (как-то меня спросили: почему я так страстно уговаривал А.Д. не голодать? Ответ прост: я не хотел, чтобы он умирал, чтобы снова и снова испытывал мучения, которым его подвергали. Я знал, что власть не отступит, что протест всего мира для нее ничего не значит. А.Д. рассматривал как поражение и неудачу голодовки 1984 г. На самом деле он проявил поразительное мужество, но результат был предопределен).



Нетрудно представить себе, чем окончилась бы и голодовка 1985 г., если бы генсеком был избран не Горбачев, а Гришин или Щербицкий, или Романов. Я не сомневаюсь, что сам Сахаров считал, что своими голодовками он одержал победу над властью. Разубеждать его в этом было бы жестоко. Более того, быть может, именно уверенность в этом придала ему новую веру в свои силы и помогла в последующей борьбе. Пусть так. Все хорошо, что хорошо кончается.

**Из книги академика В.Л. Гинзбурга «О физике и астрофизике» (М. 1995)**

### **О феномене Сахарова**

Когда А.Д. (Сахаров. – О.М.) был выслан, встал вопрос, как ему помочь, да и вообще, что же ему делать в Горьком? К счастью, мы догадались внести такое предложение: А.Д. останется сотрудником отдела, а мы будем ездить в Горький для

информации, обсуждения и т. д. Это предложение было принято. Первая поездка состоялась 11 апреля 1980 г. (поехали я и еще два сотрудника ФИАНа). С тех пор сотрудники отдела ездили к А.Д. много раз, вплоть до 1986 г., обычно по двое, на один день. Но это особая история. Замечу лишь, что я сам ездил лишь еще один раз – 22 декабря 1983 г. За день или два до этого я услышал «по чужому голосу», что А.Д.Сахаров при смерти и было сел ночью писать письмо «наверх», но потом решил, что не могу посылать это письмо, не увидев сам, в каком А.Д. состоянии. К счастью, я застал его не больным и даже бодрым, но очень обеспокоенным. На его письмо Ю.В.Андропову с просьбой о поездке жены на лечение за границу не было ответа. В дальнейшем именно вопрос об этой поездке и оказался в центре внимания.

Только теперь, наконец, перехожу к тому письму, опубликовать которое и является основной целью этой части настоящей статьи. В ноябре 1984 г. один из сотрудников отдела (Е.С.Фрадкин), ездивший в Горький, привез мне пакет от А.Д.

В нем содержалось письмо, адресованное тогдашнему президенту АН СССР А.П.Александрову. Было там и письмо, адресованное мне, конечно, далеко не столь важное. Но для ясности приведу вначале и это сопроводительное письмо.

«Дорогой Виталий Лазаревич!

Я написал прилагаемое письмо Анатолию Петровичу, в котором прошу помочь в вопросе о поездке жены, рассказываю про наше положение, ставшее еще более трагическим и непереносимым с тех пор, как Вы посетили нас в прошлом году, и сообщаю о своем решении выйти из Академии, если ходатайства Академии и ее Президента (или другие усилия) не приведут к решению проблемы поездки.

Я прошу Вас ознакомиться с прилагаемым письмом и передать его лично в руки Президента. Я думаю, что передача кому-либо другому была бы нежелательна, при этом возникает опасность, что письмо не дойдет до Александрова (если А.П., например, болен гриппом или чем-либо в этом роде, лучше, вероятно, подождать). В целом же я полагаюсь тут на

Вас и на знание Вами общей ситуации, и на Вашу инициативу. Я надеюсь, что, ознакомившись с письмом, Вы согласитесь со мной в необходимости и внутренней обязательности принятого решения о выходе из АН при неуспехе попыток добиться поездки.

В связи со сложностью ситуации, я прошу Вас пока не сообщать кому-либо о моем решении. О фактическом же положении наших дел (о причинах, вынуждающих добиваться поездки, о суде над женой и его незаконности, о варварском принудительном кормлении и четырехмесячной изоляции, о состоянии здоровья жены и моего), наоборот, вполне можно рассказывать, и чем шире, тем лучше – это какой-то минимальный противовес тому потоку дезинформации и клеветы, который распространяется в прессе, при контактах с иностранными учеными и другими путями.

Я посылаю Вам также копию письма Александрову. Оставьте, пожалуйста, ее у себя на случай возникновения каких-либо неожиданных ситуаций.

Я буду глубоко благодарен Вам за передачу письма.

Моя жена передает Вам и (так же, как я) Вашей жене наилучшие пожелания.

10 ноября, Горький

С глубоким уважением

Ваш А.Сахаров

P.S. Вероятно, Вам следует отдать письмо А.П. дней через 8 – 10 после приезда физиков от меня, чтобы не было слишком явно, кто Вам его передал. А.П., конечно, можно (и желательно) этого не говорить».

«Президенту АН СССР акад. А.П.Александрову

Членам Президиума АН СССР

Глубокоуважаемый Анатолий Петрович!

Я обращаюсь к Вам в самый трагический момент своей жизни. Я прошу Вас поддержать просьбу о поездке жены, Елены Георгиевны Боннэр, за рубеж для встречи с матерью, детьми и внуками и для лечения болезни глаз и сердца. Ниже постараюсь объяснить, почему поездка жены стала для нас абсолютно необходимой. Беспрецедентный характер нашего положения, созданная вокруг меня и вокруг моей жены обстановка изоляции, лжи и клеветы вынуждают писать подробно; письмо получилось длинным, прошу извинить меня за это.

Мои общественные выступления — защита узников со-  
вести, статьи и книги по общим вопросам сохранения мира,  
открытости общества и прав человека (основные из них: «Раз-  
мышления о прогрессе...» — 1968 г., «О стране и мире» —  
1975 г., «Опасность термоядерной войны» — 1983 г.) вызы-  
вают большое раздражение властей. Я не собираюсь защи-  
щать или объяснять здесь свою позицию. Подчеркну только,  
что должен нести единоличную ответственность за все свои  
действия, продиктованные сложившимися на протяжении це-

лой жизни убеждениями. Однако с того момента, как в 1971 году Елена Боннэр стала моей женой, КГБ осуществляет коварный и жестокий план решения «проблемы Сахарова» – переложить ответственность за мои действия на нее, устранить ее морально и физически, сломить тем самым и подавить меня, представить в то же время невинной жертвой происков жены (агента ЦРУ, сионистки, корыстолюбивой авантюристки и т.д.). Если раньше еще можно было сомневаться в сказанном, то массированная кампания клеветы против жены в 1983-84 годах, и особенно действия КГБ против нее и меня в 1984 году, о которых я рассказываю ниже, не оставляют в этом сомнения.

Моя жена, Елена Георгиевна Боннэр, родилась в 1923 г. Ее родители, активные участники революции и гражданской войны, репрессированы в 1937 году. Отец (Первый секретарь ЦК партии большевиков Армении, член Исполкома Коминтерна) погиб, мать многие годы провела в лагере и ссылке, как ЧСИР (член семьи изменника родины). С первых дней Ве-

ликой Отечественной войны и до августа 1945 года жена в армии – сначала санинструктор, после ранения и контузии – старшая медсестра санпоезда. Результат контузии – тяжелая болезнь глаз. Жена – инвалид Великой Отечественной войны 2-й группы (по зрению). Всю дальнейшую жизнь она тяжело больна – но это напряженная трудовая жизнь – ученье, работа врача и педагога, семья, деятельная помощь тем, кто в этом нуждается, уважение и любовь окружающих. Когда наши жизненные пути слились, судьба ее круто меняется. В 1977- 78 годах вынуждены эмигрировать в США дети жены Татьяна и Алексей (я считаю их и своими детьми) и наши внуки – после 5 лет притеснений, многократных угроз убийства, ставшие фактически заложниками. Произошел трагический разрыв семьи, тяжесть которого усугубляется тем, что мы лишены нормальной почтовой, телефонной и телеграфной связи. С 1980 г. в США находится мать жены – сейчас ей 84 года.



Увидеть своих близких – неотъемлемое право каждого человека, в том числе и моей жены.

Еще в 1974 году на основании многих фактов нам стало ясно, что никакое эффективное лечение жены в СССР невозможно, более того – опасно, так как оно неизбежно проходит в условиях непрерывного вмешательства КГБ, а теперь также – всеобщей организованной травли. Подчеркну, что эти опасения относятся к лечению именно жены, а не меня. Но они убедительно подтверждаются тем, что делали, подчиняясь КГБ, медики со мной во время 4-месячного вынужденного пребывания в больнице в Горьком, об этом ниже.

В 1975 году, при поддержке мировой общественности, моей жене были разрешены поездки в Италию для лечения глаз (как я предполагаю – по указанию Л.И.Брежнева). Жена ездила в Италию в 1975, 1977 и 1979 годах, лечилась и дважды оперировалась по поводу некомпенсированной глаукомы в Сиене у проф. Фрезотти. Естественно, она должна продолжать лечиться и оперироваться у него же. В 1982 году возник-

ла настоятельная необходимость новой поездки. В сентябре 1982 г. жена подала заявление о поездке в Италию для лечения. Обычный срок рассмотрения подобных заявлений – несколько недель, не более 5 месяцев. Жена не получила никакого ответа до сих пор, прошло уже 2 года.

В апреле 1983 года у моей жены, Е.Г.Боннэр, произошел обширный крупноочаговый инфаркт (подтвержден справкой лечебного отдела Академии по запросу следственных органов). Состояние ее не нормализовалось до сих пор, имели место многочисленные приступы, сопровождавшиеся расширением пораженной зоны (некоторые из них подтверждены обследованиями врачей Академии, в том числе в марте 1984 года). Последний очень тяжелый приступ имел место в августе 1984 г.

В ноябре 1983 года я подал заявление на имя тов. Ю.В.Андропова, а в феврале 1984 года аналогичное заявление на имя тов. К.У.Черненко. В этих заявлениях я просил дать указание о разрешении поездки жены. Я писал: «Поездка для

встречи с матерью, детьми и внуками и... лечения стала для нас вопросом жизни и смерти. Поездка не имеет никаких других целей, кроме указанных выше. Я заверяю Вас в этом».

В сентябре 1983 года я пришел к выводу, что решение вопроса о поездке невозможно без голодовки (так же, как ранее решение вопроса о выезде к сыну невестки Лизы Алексеевой). Жена понимала, что бездействие для меня тяжелей всего. Однако она долго оттягивала начало голодовки. Фактически голодовку я начал в качестве прямой реакции на действия властей.

30 марта 1984 года меня вызвали в ОВИР Горьковской области. Представитель ОВИРа заявила: «По поручению ОВИР СССР я сообщаю Вам, что Ваше заявление рассматривается. Однако ответ будет сообщен Вам после первого мая».

2 мая моя жена улетала в Москву. Из окна аэропорта я увидел, что ее задержали у самолета и увезли в милицейской машине. Приехав в квартиру, я выпил слабительное, начав тем самым голодовку с требованием поездки жены. Через 2

часа приехала жена, одновременно с ней начальник Обл. КГБ, произнесший устрашающую речь, в которой назвал мою жену агентом ЦРУ. Жене в аэропорте был сделан личный обыск и предъявлено обвинение по статье 190-1 Уголовного кодекса РСФСР, взята подписка о невыезде. Это и был обещанный мне ответ на заявление о поездке. В течение последующих месяцев жену регулярно вызывали на допросы. 9-10 августа состоялся суд, приговоривший ее к 5 годам ссылки. 7 сентября выездная сессия Верховного суда РСФСР (Верховный суд – спецгруппа – специально приехал в Горький) на кассационном заседании оставила приговор в силе. Местом отбывания ссылки назначен г. Горький, т. е. вместе со мной, что создает видимость гуманности. На самом же деле это замаскированное убийство!

Несомненно, вся затея с обвинением и осуждением жены осуществлена КГБ главным образом для того, чтобы максимально затруднить единственно правильное решение о поездке жены. Дело жены, представленное в обвинительном

заклучении и приговоре, является типичным для судимых по этой статье примером судебного произвола и несправедливости, при этом в особенно обнаженной форме. Статья 190-1 УК РСФСР инкриминирует распространение заведомо ложных клеветнических измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй (по смыслу статьи – утверждений, ложность которых ясна обвиняемому, однако, в известной мне судебной практике, в том числе в деле жены, речь идет об утверждениях, истинность которых несомненна для обвиняемых, т. е. об их убеждениях). В большинстве из 8 пунктов обвинения жене фактически ставится в вину цитирование моих высказываний (даваемых обвинением в отрыве от контекста высказываний жены и моего реального текста). Все эти высказывания касаются второстепенных вопросов, гораздо менее существенных, чем основная тема обсуждения у меня или у жены. Например, по ходу изложения в книге «О стране и мире» я объяснял, что такое сертификаты, и заметил, что в СССР существует два рода денег. Это (вполне бесспорное) высказывание было упомянуто женой на одной из пресс-

конференций в Италии и инкриминировано жене как клеветническое. На самом деле все принадлежащие мне высказывания следовало бы инкриминировать, во всяком случае, не жене, а мне. Жена, действуя в соответствии со своими убеждениями, выступала моим представителем.

Один из пунктов обвинения использует эмоциональное восклицание жены во время неожиданного для нее интервью приехавшему к ней французскому корреспонденту 18 мая 1983 года, через три дня после того, как у жены был диагностирован инфаркт. Как Вам известно, в мае-июне 1983 года мы безуспешно добивались совместной госпитализации в больницу АН. Корреспондент спросил: «Что же будет с вами?» Жена воскликнула: «Не знаю, по-моему, нас убивают». Эти слова обвинения и суд объявили заведомой клеветой. Ясно, что речь не шла об убийстве пистолетом или ножом, а оснований для слов о косвенном убийстве (жены, во всяком случае) было более чем достаточно.

Другой (важный в системе обвинения) пункт – о якобы осуществленном женой в 1977 году изготовлении и распространении одного из документов Хельсинкской группы.

Пункт основан на явном лжесвидетельстве и полностью опровергнут в ходе суда адвокатом на основании рассмотрения хронологии событий. Свидетель заявил, что ему сказал о вывозе женой документа один из членов группы. Но свидетель был арестован до отъезда жены в Италию 7 сентября и поэтому никак не мог после отъезда жены встречаться с кем-либо «с воли». В ходе перекрестного допроса свидетель ответил, что он «узнал» о вывозе документа в июле или начале августа, т. е. заведомо до отъезда жены. Кроме того, суд и обвинение не привели доказательств того, что документ был составлен до отъезда жены (на документе не проставлена дата), и вообще не привели каких-либо подтверждений истинности голословного утверждения свидетеля, к тому же ссылающегося на слова другого человека. Этот эпизод вопреки логике оставлен в приговоре и определении кассационного суда. Отказавшись от этого пункта обвинения, кассационный суд был бы вынуж-

жден отменить весь приговор и, в частности, отменить за давностью и отсутствием непрерывности все обвинения, относящиеся к 1975 году. Но важней всего, что все пункты обвинения не имеют никакого юридического отношения к содержанию статьи 190-1 (предполагающей, как я сказал, заведомую клевету).

Ссылка жены фактически привела для нее к гораздо более тяжелым ограничениям, чем это предусмотрено законом, — к прекращению всех возможностей связи с матерью и детьми, к полной изоляции от друзей, к фактической конфискации нашего имущества в московской квартире, ставшего для нас недоступным, к потере московской квартиры (замечу, что эта квартира была предоставлена матери жены в 1956 г. при ее реабилитации и посмертной реабилитации мужа).

В приговоре жены совершенно отсутствуют те обвинения, которые выставляются против нее в прессе, — ее мнимые преступления в прошлом, ее «моральный облик», ее «связи» с иностранными спецслужбами; эти обвинения не упоминались



на суде вообще. Ясно, что это просто клевета для публики, для презируемого дирижерами от КГБ «быдла». Последняя статья этого рода – в «Известиях» от 21 мая 1984 г. В ней настойчиво проводится мысль, что жена все время стремится к выезду из СССР – «хоть через труп мужа», уже в 1979 году хотела остаться в США, но ей «отсоветовали» (по контексту – спецслужбы США). Вся героическая и трагическая жизнь жены со мной, принеся ей столько потерь и страданий, опровергает эту инсинуацию. Замечу, что и до замужества со мной моя жена много раз бывала за рубежом – в Ираке (год работы по оспопрививанию), в Польше, во Франции – и никогда не помышляла стать невозвращенцем. На самом деле именно КГБ больше всего хотел бы, чтобы жена бросила меня – это было бы наилучшей демонстрацией правоты их клеветы. Но вряд ли они на это надеются, они «психологи». Статью от 21 мая от меня тщательно скрывали – я думаю, чтобы не укрепить в мысли о необходимости добиться победы до встречи с женой, чтобы на нее не пала ответственность за мою голодовку.

4 месяца — с 7 мая по 8 сентября — жена и я были полностью изолированы друг от друга и от внешнего мира. Жена находилась совершенно одна в пустой квартире, под усиленной «охраной». Кроме обычного милиционера у входной двери круглосуточно действовали несколько постов наружного наблюдения, к лоджии пригнали вагончик, в котором постоянно дежурили сотрудники КГБ. Вне дома ее сопровождали две машины с сотрудниками КГБ, пресекавшими возможность даже самого «невинного» контакта с кем-либо на улице. Ее не подпускали к зданию областной больницы, где находился я.

7 мая, когда я провожал жену на очередной допрос, в здании прокуратуры меня схватили переодетые в медицинские халаты сотрудники КГБ и с применением физической силы доставили в Горьковскую областную клиническую больницу им. Семашко. Там меня насильно держали и мучили 4 месяца. Попытки бежать из больницы неизменно пресекались сотрудниками КГБ, круглосуточно дежурившими на

всех возможных путях побега. С 11-го по 27 мая включительно я подвергался мучительному и унижительному принудительному кормлению. Лицемерно все это называлось спасением моей жизни, фактически же врачи действовали по приказу КГБ, создавая возможность не выполнить мое требование разрешить поездку жены! Способы принудительного кормления менялись – отыскивался самый трудный для меня способ, чтобы заставить меня отступить. 11–15 мая применялось внутривенное вливание питательной смеси. Меня валили на кровать и привязывали ноги и руки. В момент введения в вену иглы санитары прижимали мои плечи. 11 мая (в первый день) кто-то из работников больницы сел мне на ноги. 11 мая до введения питательной смеси мне ввели в вену какое-то вещество малым шприцем, я потерял сознание (с непроизвольным мочеиспусканием). Когда я пришел в себя, санитары уже отошли от кровати к стене. Их фигуры показались мне странно искаженными, изломанными (как на экране телевизора при сильных помехах). Как я узнал потом, эта зрительная иллюзия характерна для спазма мозговых сосудов или инсульта. У ме-

ня сохранились черновики записок жене, написанных в больнице (почти все эти записки, кроме совершенно неинформативных, не были ей переданы, так же как ее записки мне и посланные ею книги). В моей записке от 20 мая (первой после начала принудительного кормления), так же как в еще одном черновике того же времени, бросается в глаза дрожащее изломанное написание букв, а также двукратное и трехкратное повторение букв во многих словах (в основном гласных – «руу-ука» и т. п.). Это тоже очень характерный признак инсульта или спазма мозговых сосудов (носящий объективный и документальный характер). В более поздних записках повторения букв нет, но сохраняется симптом дрожания. Записка от 10 мая (до начала принудительного кормления, 9-й день голодовки) – совершенно нормальная. Я очень смутно помню свои ощущения периода принудительного кормления (в отличие от периода 2 – 10 мая). В записке от 20 мая написано: «Хожу еле-еле. Учусь». Как видно из всего вышесказанного, спазм (или инсульт) от 11 мая не был случайным – это прямой результат примененных ко мне медиками (по приказу КГБ) мер!

16–24 мая применялся способ принудительного кормления через зонд, вводимый в ноздрю. Этот способ кормления был отменен 25 мая, якобы из-за образования язвочек и пролежней по пути введения зонда, на самом же деле, как я думаю, из-за того, что этот способ был для меня слишком легким, переносимым (хотя и болезненным). В лагерях этот способ кормления применяют месяцами, даже годами.

26–27 мая применялся наиболее мучительный и унижающий, варварский способ. Меня опять валили на спину на кровать, привязывали руки и ноги. На нос надевали тугую зажим, так что дышать я мог только через рот. Когда же я открывал рот, чтобы вдохнуть воздух, в рот вливалась ложка питательной смеси или бульона с протертым мясом. Иногда рот открывался принудительно – рычагом, вставленным между деснами. Чтобы я не мог выплюнуть питательную смесь, рот мне зажимали, пока я ее не проглочу. Все же мне часто удавалось выплюнуть смесь, но это только затягивало пытку. Особая тяжесть этого способа кормления заключалась

в том, что я все время находился в состоянии удушья, нехватки воздуха (что усугублялось положением тела и головы). Я чувствовал, как бились на лбу жилки, казалось, что они вот-вот разорвутся.

(К этому описанию варварского принудительного кормления, которое содержится в письме Андрея Дмитриевича академику Александрову, надо добавить еще одно обстоятельство. Чтобы все эти процедуры были еще более унижительными для «больного», главный экзекутор главврач больницы Обухов «кормящую бригаду» специально составлял из дам – таких крепких теток-санитарок. По словам Елены Георгиевны, «все неприятные и неэстетичные моменты, которые могли быть при этом насилии, становились еще труднее переносимыми психологически, когда это происходило при женщинах». Собственно, эту цель – особо унижить и помучить «пациента» - не скрывал и сам Обухов, который чуть что, при малейшем неповиновении Сахарова, стращал его: «Смотрите,

Андрей Дмитриевич, опять женскую бригаду пришлю». —  
**О.М.)**

27 мая я попросил снять зажим, обещав глотать добровольно. К сожалению, это означало конец голодовки (чего я тогда не понимал). Я предполагал потом через некоторое время — в июле или в августе — возобновить голодовку, но все время откладывал. Мне оказалось психологически трудным вновь обречь себя на длительную — бессрочную — пытку удушья. Гораздо легче продолжать борьбу, чем возобновлять.

Очень много сил отнимали у меня в последующие месяцы утомительные и совершенно бесплодные «дискуссии» с соседями по палате. Я был помещен в двухместную палату, меня не оставляли наедине, это явно тоже была часть комплексной тактики КГБ. Соседи сменялись, но все они всячески старались внушить мне, какой я наивный и доверчивый человек, и какой профан в политике (в обрамлении лести, какой я ученый). Жестоко мучила почти полная бессонница — от перевозбуждения после разговоров, и еще больше — от

ощущения трагичности нашего положения, от тревожных мыслей о тяжело больной жене (фактически полупостельной и зачастую просто постельной больной по меркам обычной жизни), оставшейся в одиночестве и изоляции, от горьких упреков самому себе за допущенные ошибки и слабость. В июне и июле мучили сильнейшие головные боли после устроенного медиками спазма (инсульта?).

Я не решался возобновить голодовку, в частности, опасаясь, что не сумею довести ее до победы и только отсрочу встречу с женой (что все равно нам предстояла четырехмесячная разлука, я не мог предположить).

В июне я обратил внимание на сильное дрожание рук. Невропатолог сказал мне, что это болезнь Паркинсона. Врачи стали настойчиво внушать мне, что возобновление голодовки неминуемо приведет к быстрому катастрофическому развитию болезни Паркинсона (клиническую картину последних стадий этой болезни я знал из книги, которую мне дал «для ознакомления» главный врач; это тоже был способ психологи-



ческого давления на меня). В беседе со мной главный врач О.А.Обухов сказал: «Умереть мы Вам не дадим. Я опять назначу женскую бригаду для кормления с зажимом. Есть у нас в запасе и кое-что еще. Но Вы станете беспомощным инвалидом». (Кто-то из врачей пояснил – не сможете даже сами надеть брюки.) Обухов дал понять, что такой исход вполне устраивает КГБ, который даже ни в чем нельзя будет обвинить («болезнь Паркинсона привить нельзя»).

То, что происходило со мной в Горьковской областной больнице летом 1984 года, разительно напоминает сюжет знаменитой антиутопии Орвелла, по удивительному совпадению названной им «1984» (год). В книге и в жизни мучители добились предательства любимой женщины. Ту роль, которую в книге Орвелла играла угроза клетки с крысами, в жизни заняла болезнь Паркинсона.

Я решился на возобновление голодовки, к сожалению, лишь 7 сентября, а 8-го сентября меня срочно выписали из больницы. Передо мной встал трудный выбор – прекратить

голодовку, чтобы увидеть жену после 4-х месяцев разлуки и изоляции, или продолжить голодовку, насколько хватит сил – при этом наша разлука и полное незнание того, что делается с другим, продолжатся на неопределенное время. Я не смог принять второе решение, но жестоко мучаюсь тем, что, может быть, упустил шанс спасения жены. Только встретившись с женой, я узнал, что суд уже состоялся, и его подробности, она же – что я подвергался мучительному принудительному кормлению.

Особенно меня волнует состояние здоровья жены. Я думаю, что единственная возможность спасения жены – скорая поездка за рубеж. Гибель ее была бы и моей гибелью.

Сегодня моя надежда – на Вашу помощь, на Ваше обращение в самые высокие инстанции для получения разрешения на поездку жены.

Я прошу о помощи Президиума АН СССР и лично Вас, как Президента Академии, и как человека, знавшего меня многие годы.

Так как жена осуждена на ссылку, то ее поездка, вероятно, возможна только в том случае, если Президиум Верховного Совета СССР своим Указом приостановит на время поездки действие приговора (подобный прецедент имел место в Польше, и в самое последнее время – в СССР), или Президиум Верховного Совета, или другая инстанция вообще отменят приговор с учетом того, что жена – инвалид Великой Отечественной войны 2-й группы, перенесла крупноочаговый инфаркт миокарда, ранее не судима, имеет 32-летний стаж безупречной трудовой деятельности. Этих аргументов должно быть достаточно для Президиума Верховного Совета, для Вас же добавлю, что жена осуждена несправедливо и незаконно даже с чисто формальной точки зрения, фактически за то, что она моя жена и ее не хотят пустить за рубеж.

Я повторяю свое заверение, что поездка не имеет никаких других целей, кроме лечения и встречи с матерью, детьми и внуками, в частности, не имеет целей изменения моего положения. Жена может со своей стороны дать соответствующую

щие обязательства. Она может также дать обязательство не разглашать подробностей моего пребывания в больнице (если это условие будет нам поставлено).

Я предполагаю и надеюсь прекратить свои общественные выступления, сосредоточившись на науке и семейной жизни. Разрешить поездку жены – моя единственная личная просьба к властям нашей страны, которой я в прошлом оказал важные, возможно, решающие услуги.

Я – единственный академик в истории Академии наук СССР и России, чья жена осуждена как уголовная преступница, подвергается массивной и подлой, провокационной публичной клевете, фактически лишена медицинской помощи, лишена связи с матерью, детьми и внуками. Я – единственный академик, ответственность за действия и убеждения которого перелagается на жену. Это мое положение – ложное, оно абсолютно непереносимо для меня. Я надеюсь на Вашу помощь.

Если же Вы и Президиум АН не сочтете возможным поддержать мою просьбу в этом самом важном для меня, трагическом деле о поездке жены, или если ваши ходатайства и другие усилия не приведут к решению проблемы до 1 марта 1985 года, я прошу рассматривать это письмо как заявление о выходе из Академии наук СССР.

Я отказываюсь от звания действительного члена АН СССР, которым я при других обстоятельствах мог бы гордиться. Я отказываюсь от всех прав и возможностей, связанных с этим званием, в том числе от зарплаты академика, что существенно, ведь у меня нет никаких сбережений.

Я не могу, если жене не будет разрешена поездка, продолжать оставаться членом Академии наук СССР, не могу и не должен принимать участие в большой всемирной лжи, частью которой является мое членство в Академии.

Повторяю, я надеюсь на вашу помощь.

15 октября 1984 г., г. Горький

С уважением Андрей Сахаров

P.S. Если это письмо будет перехвачено КГБ, я тем не менее выйду из Академии наук СССР. Ответственность за это ляжет на КГБ. Ранее (во время голодовки) я посылал Вам 4 телеграммы и письмо.

P.S.S. Письмо написано от руки, т. к. пишущие машинки (так же, как многое другое – книги, дневники, рукописи, фотоаппарат, киноаппарат, магнитофон, радиоприемник) отобрали при обыске».

14 ноября 1984 г. (впрочем, на день-другой могу ошибиться) я лично передал это письмо А.П.Александрову, он прочел его при мне и обещал «передать на соответствующем уровне» (кому конкретно – сказано не было). Не сомневаюсь в том, что А.П.Александров письмо передал, но какой-либо видимой реакции на это не было.

26 февраля 1985 г. вернувшиеся из очередной поездки в Горький сотрудники Отдела привезли мне для передачи

А.П.Александрову второе письмо, датированное 12 января 1985 г. К сожалению, у меня нет его копии. Я лишь записал на сохранившемся у меня листке, что в письме А.Д. отодвигает дату своего выхода из Академии на 10 мая в связи с болезнью Черненко. Записал я и, видимо, последнюю фразу письма: «Как я Вам писал, я хочу и надеюсь прекратить свои общественные выступления. Я готов к пожизненной ссылке. Но гибель моей жены (неизбежная, если ей не разрешат поездку) будет и моей гибелью».

Сохранилось, однако, сопроводительное письмо Андрея Дмитриевича:

«Дорогой Виталий Лазаревич!

Я опять обращаюсь к Вам с большой просьбой. Пожалуйста, передайте Анатолию Петровичу прилагаемые документы, дополняющие мое первое письмо ему, переданное, как я понял, 20-го ноября. Я посылаю: 1) Второе письмо А.П.Александрову, 2) Копию моей надзорной жалобы Прокурору РСФСР, 3) Копию прошения Елены Георгиевны о помилова-

нии, 4) Копию повестки из РОВД, 5) Копию ответа прокуратуры.

Я прошу Вас предварительно ознакомиться с этими документами.

Было бы очень хорошо, если бы Вы узнали от А.П. об его отношении к моей просьбе и затем сообщили через кого-либо мне (даже если это будет нескоро). Телеграфом же можно только сообщить, что моя просьба выполнена (это будет означать, что документы переданы), если же А.П. активно действует, то вместо «выполнено» прошу написать слово «выполняется».

Об исполнении других просьб, не имеющих отношения к А.П., в телеграмме, во избежание путаницы, Вы не пишете.

Прошу извинить меня, что я использую приезды физиков для целей, не имеющих отношения к науке. Но сейчас речь идет о вопросе жизни и смерти, перед которым все остальное отступает на задний план. Вы понимаете, в частно-



сти, что других путей довести что-либо до сведения А.П. у меня нет. Мы находимся в состоянии чудовищной изоляции. Друзей и знакомых к нам не пускают. Письма от нас (и к нам), содержащие хоть какую-либо информацию, не доходят. В этих обстоятельствах самое главное, что могут сделать для нас друзья – это помочь нашей связи с внешним миром.

Мне кажется, что очень полезными были бы активные коллективные действия группы академиков и членов-корреспондентов в поддержку моей просьбы о поездке жены. Это могло бы быть совместное обращение к Президенту. Какие дальнейшие шаги возможны – не мое дело подсказывать, такие вопросы каждый решает сам за себя.

Я и Елена Георгиевна желаем всего наилучшего Вам и Вашей жене. Будьте здоровы.

16 января 1985

С уважением Ваш А.С.

P.S. Я понимаю все негативные последствия выхода из АН. Но все это второстепенно для меня по сравнению с тем абсолютным долгом, который я чувствую на себе, – дать моей жене перед смертью увидеть близких, а может, и продлить ее жизнь. Лечение в СССР абсолютно исключено. Угроза выхода из АН – аргумент для ходатайств Александрова, я в этом уверен. Другой аргумент – прошение о помиловании (о помиловании Елены Георгиевны, осужденной на ссылку. – **О.М.**), которое я посылаю. Третий аргумент – голодовка.

А.С.»

Разумеется, я немедленно передал все присланные А.Д. документы А.П.Александрову. На этот раз он при мне ничего не читал, а лишь взглянул на письмо и документы. При этом было выражено неудовольствие, смысл которого таков: мы вас посылаем для помощи А.Д.Сахарову в научной работе, а вы привозите письма. В ответ я заметил, что А.Д. прислал мне документы и я, разумеется, должен их передать. На этом разговор окончился.

В моей телеграмме А.Д. от 6 марта говорится: «Ваше письмо я передал Президенту. Желая здоровья. Гинзбург».

Быть может, стоит также пояснить, что мы (имею в виду как себя, так и некоторых других старших сотрудников отдела; мы все эти вопросы обсуждали и решали сообща), как могли, отговаривали А.Д. от голодовки, опасаясь за его здоровье. Считали мы, что он неправ также, заявляя о выходе из Академии. Мы опасались, что кое-кого это только обрадует, а позиции А.Д. не укрепит. Я, как это называется в Академии наук СССР, «рядовой академик», то есть не член Президиума и вообще «руководства». Поэтому мои возможности были очень ограничены. Правда, А.П.Александров в обоих упомянутых случаях принял меня сразу, поскольку речь шла о Сахарове. Вопрос о выходе А.Д. из Академии со мной никто не обсуждал, но мне сообщили, что исключен из Академии А.Д. не будет, поскольку в Уставе АН СССР нет пункта, допускающего выход из Академии ее членов. Итак, А.Д. таким способом ничего не добился, но в то же время и исключен не был, что,

на мой взгляд, было очень хорошо со всех точек зрения. Возникает вопрос, не могли ли мы, помимо уговоров А.Д. не голодать, передачи его писем, посылки лекарств и т.п., сделать что-либо еще? Думаю, что добиться позитивного результата мы никак не могли. О причинах же, мешавших нам хотя бы более бурно протестовать, мне не хотелось бы сейчас писать...

Андрей Дмитриевич был человеком, который в определенных вопросах не отступал ни при каких обстоятельствах. Думаю, что это достаточно ясно уже из приведенных его писем. Поэтому я убежден в том, что он так и погиб бы во время очередной голодовки или без нее в изоляции. Но, к великому счастью, сменилось, наконец-то, руководство страны, и вначале Е.Г.Боннэр было разрешено поехать за границу, а затем А.Д.Сахаров был в конце 1986 г. возвращен в Москву после письма М.С.Горбачеву от 22 октября 1986 г; копия этого письма, присланная мне, такова:

«ЦК КПСС.

Генеральному секретарю ЦК КПСС

М. С. Горбачеву

Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич!

Почти семь лет назад я был насильственно депортирован в г. Горький. Эта депортация была произведена без решения суда, т. е. является незаконной. Никаких нарушений закона и государственной тайны я никогда не допускал. Я нахожусь в условиях беспрецедентной изоляции под непрерывным гласным надзором. Моя переписка просматривается и часто задерживается, а иногда фальсифицируется. С 1984 г. в такой же противоправной изоляции находится моя жена, осужденная к ссылке, режимом которой подобная изоляция не предусматривается. Приговор и клеветническая пресса переносят на нее ответственность за мои действия.

Я лишен возможности нормальных контактов с учеными, посещения научных семинаров, что в наше время является необходимым условием плодотворной научной работы. Ред-

кие визиты моих коллег из Физического Института АН СССР не исправляют этого нетерпимого положения, по существу это фикция научного общения.

За время пребывания в Горьком мое здоровье ухудшилось. Моя жена – инвалид Великой Отечественной войны второй группы, с 1983 года перенесла многократные инфаркты. В США ей была сделана тяжелейшая операция на открытом сердце с установкой шести шунтов, и операция ангиопластики на бедре. Она сейчас фактически является глубоким инвалидом, нуждающимся для сохранения жизни в непрерывном медицинском контроле, в уходе, и климатолечении. В этом же нуждаюсь и я. Всего этого мы лишены в условиях моей депортации и ее ссылки.

Я повторяю свое обязательство не выступать по общественным вопросам, кроме исключительных случаев, когда я, по выражению Л.Толстого, «не могу молчать».

Позволю себе напомнить о некоторых своих заслугах в прошлом.

Я был одним из тех, кто сыграл решающую роль в разработке советского термоядерного оружия (1948–1968 гг.). По моей инициативе Советское Правительство предложило заключить договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Вы неоднократно отмечали значение этого договора. Прекращение испытаний в атмосфере спасло жизни сотен тысяч людей.

В силу своей судьбы я много думал о проблемах войны и мира. В своей общественной деятельности я отстаивал принцип открытости общества и соблюдение права на свободу убеждений, информации и передвижения – как важнейшей основы международной безопасности и доверия, социальной справедливости и прогресса. В феврале 1986 г. я обратился к Вам с призывом об освобождении узников совести – людей, репрессированных за убеждения и связанные с убеждениями ненасильственные действия.

Вместе с покойным академиком И.Е.Таммом я был инициатором и пионером работ по управляемой термоядерной ре-

акции (систем типа «Токамак», лазерное обжатие, мю-мезонный катализ). Предложенное мною использование термоядерных нейтронов для производства ядерного горючего позволяет исключить самое опасное и сложное звено в атомной энергетике будущего – бриддеры на быстрых нейтронах, и упростить, т. е. сделать более безопасными, энергетические ядерные реакторы.

Я хотел бы при прекращении моей изоляции принять участие в обсуждении этих проектов, в частности, в осуществлении программ международного сотрудничества с целью создания термоядерной энергетики.

Я надеюсь, что Вы сочтете возможным прекратить мою депортацию и ссылку жены.

22 октября 1986

С уважением

А. Сахаров

603137 Горький, Гагарина, 214, кв. 3



Сахаров Андрей Дмитриевич, академик».

Как мне говорили, патологоанатомическое исследование показало, что сердце Андрея Дмитриевича было совершенно изношено. Преследования, голодовки сделали свое дело и еще счастье, что он три года прожил полноценной жизнью...

В письмах ко мне от 10 ноября 1984 г. и от 16 января 1985 г. (см. выше) Сахаров призывал пошире рассказывать о его голодовке и муках, описанных в письме к А.П.Александрову от 15 октября 1984 г. Он писал также: «мне кажется, что очень полезными были бы активные коллективные действия группы академиков и членов-корреспондентов в поддержку моей просьбы о поездке жены. Это могло бы быть совместное обращение к Президенту» (письмо ко мне от 16 января 1985 г.)

Вот уж поистине аберрация, свойственная, очевидно, и великим людям. Да я не могу назвать ни одного члена Академии, который стал бы публично или в письме просить удовле-

творить просьбу А.Д.Сахарова о поездке его жены в США. Конечно, я не проводил широкого опроса, но слышал всегда только и исключительно одно: Сахаров уже голодал в связи с требованием об отъезде Лизы Алексеевой – невесты сына Е.Г.Боннэр. Тогда ему уступили. Теперь он тоже голодает по чисто личным мотивам и добиться удовлетворения его просьбы невозможно. Говорили вещи и похуже.

Голодовка в связи с требованием выпустить Е.Алексееву в свое время также не вызвала широкого сочувствия. Книжки Е.Г.Боннэр... у меня нет (имеется в виду «Постскриптум...»), та ее часть, где речь идет о Лизе Алексеевой. – **О.М.**), поэтому опишу ситуацию по статье Б.Л.Альтшулера :

«Алексей Семенов, младший сын Елены Георгиевны, при всех отличных оценках был исключен с пятого курса института (якобы, за несдачу экзамена по военному делу) и подлежал призыву в армию. Иметь такого заложника Сахаров не мог – таким образом ему пытались заткнуть рот.

Единственный оставленный выход – эмиграция. Но у Алек-

сея – девушка, без которой он никуда ехать не хочет. И в этой критической ситуации Андрей Дмитриевич дал им слово, что Лиза к Алеше приедет. Это было в 1978 г.». И далее: «Но данное слово Андрей Дмитриевич никогда не нарушал. И допустить гибели Лизы он тоже не мог. Так что с нравственной точки зрения все было абсолютно оправдано – первый из сформулированных выше принципов выполнен. Здесь даже слово «принцип» звучит нелепо, настолько по-человечески все было самоочевидно. И, страшно сказать, как этого почти никто не понимал».

Последнее я могу подтвердить. Сам я много думал о голодовках, их оправданности или неоправданности в тех или иных условиях, но к вполне четким выводам так и не пришел. Не буду здесь распространяться на эту тему. Замечу лишь, что я, разумеется, всегда безоговорочно был за право каждого человека ездить, куда он хочет. Поэтому не могло быть и речи с моей стороны о каком-то отрицании права Е.Алексеевой или Е.Г.Боннэр уехать или поехать в США. Трудно усомниться и

в праве каждого человека на голодовку, как и на самоубийство (впрочем, некоторые религии отрицают такое право). Но вот каковы при этом обязанности окружающих? Как они должны реагировать? В этом корень вопроса. В своей заметке в «Огоньке» Е.Г.Боннэр цитирует, с явным осуждением и без указания имени автора, часть письма А.Д.Сахарову от Е.Л.Фейнберга (письмо от 9 апреля 1985 г.). Жаль, что это письмо не приведено полностью... От себя считаю необходимым сказать, что никто из известных мне лиц так не любил А.Д.Сахарова и не заботился о нем, как Е.Л.Фейнберг. То положительное, что приписывается часто мне, фактически, в значительной мере было сделано Е.Л.Фейнбергом или, точнее, по его инициативе. Мы оба были убеждены, и я остался в этом убежден и сейчас, что А.Д. не следовало голодать. Причина, конечно, только одна – беспокойство за его здоровье, сострадание к его мукам. Ни о каких других мотивах не было и речи. Как могли, мы отговаривали А.Д. от голодовок. В частности, когда я приезжал в Горький 22 декабря 1983 г., А.Д. сказал, что будет голодать, а я его отговаривал

(Е.Г.Боннэр при этом присутствовала, а я не только говорил на словах, но и писал на бумаге, поскольку опасался подслушивания). Особенно мне запомнился эпизод, когда я уже стоял в прихожей и прощался, а А.Д. громко говорил, что будет голодать и «они» все равно уступят и выпустят Е.Г. Я пытался, не помню уж, словами или жестами, побудить его не говорить этого громко – подслушивают же, а это невыгодно даже с точки зрения его целей. Но А.Д. был весел и возбужден – был уверен, что «они» все равно уступят. Я же, как и Е.Л.Фейнберг, был уверен в обратном. «Они» выпустили Е.А.Алексееву, и уже тогда, я от кого-то слышал, начальство, возражавшее против этого, аргументировало так: выпустили Алексееву – будет голодовка по другому поводу. Поэтому, как я думаю, «они» твердо решили не уступать. Поскольку даже потрясающее письмо А.Д.Сахарова, переданное мной А.П.Александрову и, не сомневаюсь в этом, переданное им на «самый верх», не подействовало, то просто смешно, как мне кажется, предполагать, что могли подействовать какие-то письма советских коллег Сахарова. Е.Г.Боннэр и делает (см. заметку в

«Огоньке»...) ставку в основном на иностранцев. Да, им было несравненно легче протестовать и эти протесты немало дали. Но тогда, в 1985 г., уже наступило известное насыщение, и я крайне сомневаюсь в том, чтобы можно было еще чего-либо добиться. Поэтому, как я убежден, и уже писал об этом в «Знамени» и во второй части выше, только приход к власти М.С.Горбачева спас Сахарова (между тем, Е.Г.Боннэр пишет...: «А новое правительство или старое – дело второе»); другими словами, что Брежнев, что Черненко, что Горбачев – все равно)...

Убежден, я об этом уже писал, что голодовка ради удовлетворения «просьбы о поездке жены, Е.Г.Боннэр, за рубеж для встречи с матерью, детьми и внуками и для лечения болезни глаз и сердца» (из письма А.Д. Президенту) не встретила бы тогда у нашей публики никакого понимания, а то и сочувствия, даже когда речь шла о Сахарове. Оставалась за-граница. Кстати, когда Сахаров вернулся в Москву, он как-то упрекнул меня, сказав, что я, якобы, «не так» (не правдиво?)

освещал его положение в Горьком в разговоре с американским физиком К.Торном. Я так удивился, что даже усомнился, что речь идет, действительно, о Торне, а Сахаров тоже, насколько я понял и помню, не был уверен, о Торне ли его информировали. К.Торн был у меня в гостях вместе с В.Б.Брагинским в марте 1986 г. (сейчас специально проверил, что Торн был в Москве с 9 по 26 марта, а до этого в Москве в 1985 г. не был). Он спрашивал о Сахарове, я сообщил, что знал... В 1988 г. Торн вновь был в СССР и просил меня посодействовать его встрече с Сахаровым. Я позвонил А.Д. и он встретился с Торном, причем Брагинский играл роль переводчика. Разговор был длительным. После него я спросил как Торна, так и Брагинского, заходила ли речь о неточной информации, якобы исходившей от меня. Нет, не заходила... В 1985 г. меня... пригласили... в Копенгаген по случаю столетия со дня рождения Н.Бора. Намечался (и действительно затем состоялся) очень представительный симпозиум, причем я был на нем единственным докладчиком от СССР... Естественно, в Дании я всем говорил о наших «порядках» и даже

отразил это в конце доклада. Но, кстати, встречал в основном полное равнодушие... Меня о Сахарове спрашивали В.Вайскопф, Р.Пайерлс и Ф.Яноух (возможно, и еще кто-нибудь). Что конкретно говорил, не помню, но ни минуты не сомневаюсь в том, что говорил правду и только правду. Недавно (25 февраля 1990 г.) Ф.Яноух был в Москве и рассказал мне, что тогда (в октябре 1985 г.), после разговора со мной, он звонил в США родственникам Е.Боннэр и сообщил им, что узнал от меня. К.Торн, В.Вайскопф, Р.Пайерлс и Ф.Яноух, слава богу, живы и здоровы. Желающие могут их спросить о разговорах со мной.

Итак, и с иностранцами я отнюдь не молчал и не дезинформировал их. Остается добавить только о том, о чем я не написал в «Знамени»..., ибо это касается не только меня. Сотрудники Отдела, вернувшиеся от Сахарова 26 февраля 1985 г., привезли не только письмо ко мне и пакет, который я должен был передать Президенту. А.Д.Сахаров попросил одного из них взять и другой пакет для передачи некоему мо-



сковскому диссиденту. Сотрудник отказался. Ни в какой мере не могу осуждать его за это; он ведь поехал, причем совершенно добровольно, для другой цели, а забота о себе и своей семье тоже право каждого человека. Тогда А.Д., через некоторое время, попросил его передать один большой запечатанный пакет нам с Е.Л.Фейнбергом. И вот мы (я, Е.Л.Ф. и два сотрудника Отдела, ездившие в Горький) собрались и вскрыли пакет. В нем оказались материалы, которые я должен был передать Президенту (речь, в частности, идет о письме Президенту от 12 января 1985 г., о котором упомянуто выше), а также какие-то материалы для пресс-конференции с иностранными журналистами или что-то в этом духе. Мы единогласно решили эти последние материалы не использовать, они были спрятаны, а потом переданы Е.Г.Боннэр.

Как бы я поступил, если бы один знал об этом материале, скажем, сам получил бы его от А.Д., сказать сейчас со всей определенностью не берусь. Мог бы передать, но мог бы и отказаться. И не вижу в последней возможности ничего по-

стыдного для себя. Моя жена провела год в тюрьме и лагере (по вздорному обвинению в контрреволюционной деятельности), потом долгих восемь лет находилась в ссылке под Горьким и в Горьком (вот ведь ирония судьбы, опять Горький!). У меня имеются дочь и две внучки. Разве я был обязан в таких условиях тягаться с КГБ ради поездки в США жены даже самого Сахарова для встречи с родными и лечения? С другой стороны, прав Б.Л.Альтшулер, когда утверждает, что во время голодовки с целью отъезда Е.Алексеевой «Сахаров бился не только за ее отъезд, и не только за свое честное слово, но и за всех нас». То же относится и к другим его голодовкам. Об этом пишет и сам А.Д.Сахаров в «Воспоминаниях». Я согласен и с мыслью Альтшулера о том, что «не исключено, что каждая его (т. е. А.Д.Сахарова. — **В.Г.**) победа что-то сдвигала там, на скрытой от земных взоров вершине Олимпа, сдвигала в сторону будущих преобразований»... Но подходя к вопросу с еще одной стороны, должен заметить, что при всех заслугах Сахарова, я не признаю его морального права распоряжаться судьбами других людей из-за фанатической предан-

ности своей жене или даже для общих целей правозащитной борьбы.

Да, все сложно. И вот к чему приводит нарушение прав человека. Разве поездка Е.Г.Боннэр за границу кому-нибудь мешала? А ведь Сахаров из-за этого голодал в сумме несколько месяцев и, вполне вероятно, это намного укоротило его жизнь.

Думаю, что последнее предположение обосновано. Вспоминаю А.Д., когда я видел его в конце 1983 г. в Горьком; тогда он еще, как мне кажется, мало изменился по сравнению с 1980 г. А когда в конце 1986 г. А.Д. вернулся в Москву, у него был уже совсем другой вид, это многие отмечали. У меня имеется фотография, на которой мы с А.Д. сидим вместе, сделанная 20 или 21 апреля 1989 г. Сахаров выглядит на этой фотографии значительно старше меня, хотя фактически я старше его на пять лет, что в таком возрасте является весьма существенной разницей.

Сейчас мое мнение осталось таким же: до прихода к власти М.С.Горбачева и начала им нового курса (т. е. «перестройки») все оставалось бы по-старому. Какое счастье, я об этом уже упоминал, что руководство страны, наконец, сменилось и А.Д.Сахаров не погиб во время очередной голодовки. Как ясно из второй книги А.Д.Сахарова («Горький, Москва, далее везде». Нью-Йорк, 1990), именно вмешательство М.С.Горбачева, в ответ на очередное письмо А.Д. привело к прекращению голодовки, а затем и к возвращению Сахарова в Москву...

После голодовки 1984 г., описанной в письме А.П.Александрову, Е.Г.Боннэр хорошо знала, на какие муки идет Сахаров, начиная голодовку в апреле 1985 г. Мне трудно поверить, что Е.Г.Боннэр не могла предотвратить эту голодовку, целью которой была ее поездка в США. Впрочем, твердо утверждать что-либо я все же ничего не берусь, ибо недостаточно понимаю Сахарова и его отношения с женой. Но как можно винить

в голодовке Сахарова его коллег, полностью умалчивая о своей роли, это уже выше моего понимания...

-----

*Постскриптум*

## **НАДО ЛИ БЫЛО ГОЛОДАТЬ?**

Итак, мы еще раз увидели: известные ученые, близкие Сахарову люди Евгений Львович Фейнберг, Виталий Лазаревич Гинзбург были категорически против голодовок Сахарова, уговаривали его не предпринимать их. Таковых людей – и близких, и не очень близких, но так или иначе знавших о том, что происходит в Горьком, – было большинство. Единственная причина их попыток остановить Андрея Дмитриевича – опасение за его здоровье, да и, скажем прямо, за его жизнь. Увы, все их уговоры оказались бесполезны. Скорее всего, Сахарова ожидала гибель в больничной палате, ставшей для него пыточной камерой. Спасло его, в общем-то, достаточно

случайное обстоятельство: к власти в стране пришел Горбачев. Случайным оно было потому, что нигде ведь, разве только «на небесах», не было запрограммировано, что предыдущий генсек Черненко покинет этот свет именно в тот момент, когда он его покинул, а не на год, полтора, два позже, и что на смену ему придет бывший первый секретарь Ставропольского обкома, нацеленный на решительные реформы, а не Гришин, Романов или какой-то еще консерватор, «фундаменталист», при ком положение Сахарова вряд ли радикально изменилось бы. Но – случилось то, что случилось. Горбачев спас Сахарова. И, наверное, спас Елену Георгиевну, отпустив-таки ее за границу. В Штатах ей сделали операцию на сердце (поставили шесть шунтов!), каких у нас в ту пору не делали. Да и вообще, видимо, благодаря «заграничной» медицине она пережила Андрея Дмитриевича более чем на двадцать лет.

А самому Сахарову – вряд ли в этом можно сомневаться – сильно сократили жизнь как раз голодовки, особенно последние. Надо ли было на них идти? У меня нет ответа. В кон-

це концов, любой человек хозяин своего здоровья, своей жизни.

У меня нет ответа, но можно привести кое-какие аргументы «за» и «против» (помимо тех, что уже приведены). В голодовках Сахарова было два мотива – семейные и общественные, общезначимые. Дело, однако, в том, что они тесно переплетаются друг с другом. Требования Андрея Дмитриевича при голодовках 1984 года: выпустить Елену Георгиевну в США «для свидания с матерью, детьми и внуками и для лечения». Как уже говорилось, при такой расстановке целей поездки (а Сахаров ее упорно придерживался) достаточно очевидно, что лечение считается как бы второстепенной, не очень и необходимой целью. Главное – свидание с родными. Но в то время такое требование, – если его считать просто «семейным», – выглядело как блажь: для свидания с родными из страны почти никого не выпускали. И объявлять ради этого смертельную голодовку... Далеко не всякий догадывался, что Сахаров смотрит на эту цель не просто как на се-



мейное дело, но вот именно – как на общезначимое: всякий человек, всякий гражданин имеет право свободно выезжать за границу, навещать там близких ему людей. Тут можно сослаться на его аргументы, приведенные ранее в этой книге по поводу его, точнее, их с Еленой Георгиевной, голодовки, связанной с выездом за границу Лизы Алексеевой.

Разумеется, это законное требование, но... В условиях, когда попораны многие, почти все основные, права человека, почему именно за это надо идти на смерть? Сахаров объясняет: «Я начал голодовку, находясь «на дне» горьковской ссылки. Мне кажется, что в этих условиях особенно нужна и ценна победа. И вообще-то победы так редки, ценить надо каждую!» У Сахарова не было выбора: за какое из прав человека надо, в первую очередь, бороться в реальной надежде одержать здесь победу.

Тех, кто оправдывает голодовки Сахарова, наверное меньшинство. Но среди них есть люди, наиболее близкие Сахаровым. Например, Борис Львович Альтшулер. Он объяснял-

ет действия Сахарова тем, что тот изобрел своеобразный метод, своеобразное «ноу-хау», при помощи которого можно достичь, крупных, общезначимых целей – буквально преобразовать страну. Вот это объяснение (в сборнике воспоминаний о Сахарове «Он между нами жил...»):

«...Мне кажется, что его (Сахарова. – **О.М.**) конкретные действия могут быть «выведены», говоря, конечно, схематически, из двух простых принципов:

1. Абсолютной нравственной оправданности каждого действия. Оправданности именно с самой простой, не искаженной никакими «идеями» точки зрения.

2. Необходимости победы, хотя бы в малом. Достижение положительного результата путем сосредоточения максимального усилия на минимальной площади, в пределе – в точке, использование, насколько это удастся, кумулятивного эффекта.

С точки зрения этих принципов понятны его невероятно целенаправленные усилия добиться выезда из СССР Лизы Алексеевой (1981 г.) или поездки его жены на лечение за рубеж (1984–1985 гг.) В огромной сильно централизованной системе, живущей по своим весьма консервативным законам, нестандартное поведение практически исключено. И то, что Сахаров добился нестандартного поступка высшего руководства – уступки, «чуда» – не могло не сопровождаться какими-то структурными изменениями. Ситуация напоминает явление в кристаллах «батавские слезки» – достаточно отломить микроскопический кончик, и нарушается вся структура большого кристалла».

Ну да, это перекликается с приведенными выше словами самого Андрея Дмитриевича: «...В этих условиях (в условиях горьковской ссылки. – **О.М.**) особенно нужна и ценна победа. И вообще-то победы так редки, ценить надо каждую!» Только у Сахарова нет утверждения, что любая малая победа над режимом дает осязаемый «кумулятивный эффект» и при-

водит к существенному изменению всей структуры «кристалла», то бишь в данном случае какому-то существенному изменению существующего политического режима.

Альтшулер сочувственно приводит мнение Сергея Адамовича Ковалева, еще одного близкого Сахарову человека, который связывает гласность, многопартийность, разрушение Берлинской стены – то наиболее заметное, что произошло в СССР во второй половине восьмидесятых годов прошлого века в результате перестройки – с возвращением Сахарова из Горького. При всем моем уважении к Андрею Дмитриевичу и другим диссидентам и правозащитникам напрямую связывать перестройку с их деятельностью – это, конечно, преувеличение. Как уже говорилось, они много сделали для расшатывания режима, для формирования общественного мнения, для смещения его в сторону демократических идеалов, но непосредственно у перестройки другой автор, всем известный, – Михаил Сергеевич Горбачев. Его вряд ли можно считать эталоном нравственности, носителем твердого гражданского

самосознания, каким был Сахаров и многие другие диссиденты и правозащитники, но... вот в истории чаще всего так и бывает: историю, в ее наиболее ощутимых, осязаемых поворотах, «делают» люди, обладающие несколько иными качествами, чем просто борцы за высокие идеалы свободы и справедливости. Что делать, так устроен мир. Так устроена история.

Самая большая заслуга Сахарова, на мой взгляд, – то, что он установил некую высокую планку... Как это назвать? Высокую планку гражданской нравственности, гражданской совести, на которую должен равняться каждый человек, желающий быть не бессловесным рабом, а гражданином. Этот высокий ориентир время от времени может стираться, растворяться в атмосфере, исчезать из общественного поля зрения, с тем, однако, чтобы, спустя некоторый срок, вновь восстанавливаться в памяти людей, в их представлении о должном, побуждать тянуться к этой планке, стараться приблизиться к ней.

Я не знаю, как бы все сложилось, если бы Сахаров повел себя в жизни как-то иначе, если бы не было, скажем, тех же горьковских смертельных голодовок. Наверное, он действительно продлил бы себе жизнь и многое еще успел бы сделать, - и в науке, и вне ее. Среди прочего, не сомневаюсь, он стал бы нобелевским лауреатом не только в номинации Мира, но и в научной номинации, как Лайнус Полинг, у него был для этого стопроцентный потенциал. Он, наверное, сделал бы достаточно, чтобы вторая фаза революционных реформ Горбачева – Ельцина, фаза, связанная с именем Бориса Николаевича, не замкнулась бы в пределах одной только экономики, в каковой она фактически замкнулась, но и осуществила бы более широкий охват общественной, политической жизни. Такой «недоохват», случившийся в 90-е годы, оказался трагическим для России, отбросил страну далеко назад.

В общем, если бы жив был Сахаров...

Но что ж тут гадать и рассуждать... История, как известно, не ведает сослагательного наклонения.

*1990, 2015*

## СОДЕРЖАНИЕ

I.	Как Сахаров стал Сахаровым . . . . .	2
II.	Перед освобождением . . . . .	16
III.	Освобождение . . . . .	54
IV.	В «двушке» на улице Чкалова . . . . .	107
	Хождение по мукам « согласо- ваний» . . . . .	326
	<i>Приложение.</i> Как его убивали в Горьком . . . . .	356



*Постскриптум. Надо ли было голодать? . . . . .* .441